

Души. Сказ 2

Автор:

Кристина Тарасова

Души. Сказ 2

Кристина Владимировна Тарасова

Вторая часть книжного цикла "Сказания Монастыря".

Война непримиримых душ продолжается. Чуждые и безумные или простившие и отпустившие грехи? Послушница и Хозяин оказываются заперты в душном Монастыре и тесной компании друг друга, и тогда Луна выражает желание стать женой любого из приближённых Отцу Богов. Осмелится ли мужчина отказаться от небезразличной ему вновь? И чем можно излечить израненное сердце?

Кристина Тарасова

Души. Сказ 2

Девушка

Я счастливая.

Так утверждали встречаемые на жизненном пути лица, что в последующем огорчали, подтрунивая над невидимым счастьем. И только один из знакомых залатал на сердце разошедшиеся швы. Предпринял попытку того.

Девочка услужливо интересуется, не нужна ли мне помощь. Помощь! Отворачиваюсь, оставляя робкое лицо без ответа. И себя оставляю с тревогой. Волнение капиллярами расплзается по телу – бьёт по коленям и сводит где-то под грудью. Что там?

Я боялась.

Не этого ли я хотела? Несколько днями ранее не ощущала ничего кроме «ничего», а ещё ранее – ничего кроме обиды. Когда над тобой берёт власть равнодушная тоска, начинаешь опасаться собственных мыслей. И прислушиваться к ним же. Но они гладкие, вычурные, полые. Недостигаемые пустоты, что издеваются над носителем черт, присыпая былой эмоциональностью и выгружая поперёк неё зияющий крест. Тебя страшит отсутствие страха. Сейчас же я вновь боюсь обстоятельств внешних, позабыв об ударах собственного сердца и ещё недавно ласкающего равнодушия.

– Простите, но Хозяин не велел называть имена, – говорит девочка.

Отмечаю её вежливое обращение. За день до этого подобные речи не смели касаться меня, а пренебрежительно-животный взгляд иных упирался в спину.

– Я принадлежу к слугам господина, имя которого также не велено называть, – не унимается юная особа.

Должно быть, пытается утешить или снять с себя кройки вины. Да...так и есть: не желает вражды меж слугой и хозяйкой. Хозяин же... – змея! – напоследок решил извести. Впрыснул яд и оставил на солнце.

– А если я велю отвечать и немедленно? Ослушаешься наказа госпожи?

Об этом зыбкий девичий ум не позаботился (не стал себя утруждать).

– Можешь не отвечать, – подвожу я и окидываю девочку спесивым взглядом.

А сама погружаюсь в приведшие к тому обстоятельства и, готова поклясться, слышу царапающий стены вой. Собственный плач: ненасытный, глубокий, глупый. В коридоре, меж спальными комнатами и красным балдахином, где в

ночь до этого оказалась впервой. Ян не обманул – всё было впереди: и ад включительно.

Ману склонилась надо мной и, встряхнув за плечи, велела посмотреть в глаза. Ласковое «птичка» отпружинило с бордовых губ, бордовый отпечаток прижёг щёку.

– Ну же, птичка, – промурлыкала женщина. – Еще секундочку и заканчивай. Что за беда?

– Слезам нужны минуты, трауру – вечность, – сказала я и послушно поднялась.

– Он обидел тебя? – воскликнула Ману (лицо её приняло боевые очертания: нос насупился, губы сжались).

Я хотела утаить все эти переживания, но – кольнув единой мыслью – разрыдалась. Этого и достаточно. Соринки, смещающей на весах незыблемости чашу в иную сторону. Ты выдерживаешь пласты гнёта, как вдруг является соринка.

– Он обидел тебя, Луна? – аккуратно спросила Ману и после того уверено хмыкнула. – Моя ты девочка...

Вместо ответа я слабо кивнула.

Некоторые слова не могут быть сказаны, некоторые мысли не могут быть озвучены; и ответы на них – робкие, постыдные – являются вечными заложниками грустно-сложенных век.

– Бо! ну конечно...! – затрепетала женщина и обняла меня ещё раз.

Колючие дреды пощекотали плечи, а разгорячённая от волнения (оказывается! хотя повадки её внешне отстранены и безучастны) щека прижалась к моей.

– Вот я ему устрою... – вздохнула Ману и вмиг отстранилась. – Да, Луночка? Зададим этому Божку! Ты говорила Папочке? Немедленно, в кабинет!

Команда посыпалась за командой, мысль посыпалась за мыслью, и вот я уже волоклась следом за фигуристым женским станом.

Взахлёб умоляла Ману остановиться, но женщина по обыкновению своему не давала сказать ни слова. У кабинета я врезалась меж напористой женской грудью и закрытой дверью. И ещё раз попросила усмирить пыл, кинув неловкое:

– Это и есть Ян.

Поначалу женщина глянула на меня отстранённо – без понимания, но с провокацией, после – с осознанием и скупым осуждением, ещё дальше – с жалостью и тоской. Возможно, её раздосадовало, что я назвала Хозяина по имени. Возможно, это подбило её только в первые секунды, а следом – неловкое осмысление моих действий.

Ян и только Ян явился причиной солёных щёк.

– Он не любит слёзы, Луна, – сказала Ману и сделала шаг в сторону. – Этим ты ничего не добьёшься.

– Я не пытаюсь. Слёзы – лишь импульс.

– Для мужчин, птичка, слёзы есть ужас, замешательство и смятение. А для Папочки – призыв к отчуждённости и последующему наказанию. Мужчины принимают слёзы только вместе с просьбами о защите. Если мужчины виновники слёз – давь их самостоятельно, Луночка. Не рушь пирамиду отношений. Никогда не ной мужчине, птичка, ибо мужчин жутко расстраивает, когда в отношениях ноет кто-то помимо них. Не досаждай Папочке, если не хочешь, чтобы стало хуже.

– Куда уж хуже? – в шёпote ответила я, а кабинетная дверь отворилась: на нас взглянул герой беседы.

– Слушаю вас, девочки... – недовольно вздохнул он.

Лицо его за пару ночей постарело на пару лет. Многочисленные изъёмы на коже особо отчётливо прорисовались, ожог по части лба стёк ещё больше, углубления

под глазами почти разрывались от собственного веса. Я осмелилась предположить, что сам Хозяин Монастыря не скупился на слёзы. А мужские слёзы – априори – означают вой до изнеможения, проклятия самого себя и самого же себя бичевания. Женщины приглаживают щёки влагой по причине и без, мужчины же – от невозможности возможностей, слов, действий и.. искупления.

– Вы хотели чем-то поинтересоваться или готовите заговор? – равнодушно спросил Ян и поочерёдно пригладил нас своим взглядом.

Ощутила терпкий запах питья. Истина прорисовалась: всё стало ясно. Алкоголь – славный провокатор на обострение чувств (всё, что потаено и укрыто под покладистой кожей, предстаёт взору в величайшем объёме). А если Ян пил – и не пригубил раз-другой, а безропотно вылизывал бутылочное дно – значит причина тому была важная. Я надеялась, что причина носила моё имя.

– Ничего, Папочка, – кольнула Ману – непослушно, задиристо, без опаски наказания (а ведь, кажется, привилегии её каждодневно сползали на уровень обыкновенных послушниц). – Мы уже всё выяснили.

И женщина, быстро глянув на меня, увязла в коридорной топи. Я засеменила следом, но рокошующий голос за спиной велел зайти в кабинет.

– Вынуждена отказаться, Отец, – ответила я. Не глядя. Награждая собеседника вычерченным в глупо-открытом платье позвоночником: пересчитывай, Ян. – У меня дела.

– Дела твои контролирую я, как и твою возможность/невозможность отказываться и принимать приглашения, – ритмично отбил мужчина и острым взглядом упёрся в лопатки.

– Сочувствую.

– А это, Луна, не приглашение. Я приказываю: зайди в кабинет.

– Вы пользуетесь своим положением, – хмыкнула я, однако послушалась.

– А кто бы не стал?

Плечом прижгла его грудь и не бросила ни единого взгляда.

И вот нас подбрасывает на дорожной выбоине. Смотрю через окно, едва отодвигая шторку, и препираюсь с высушенными клоками кустов. Некогда здесь произрастал величественный лес или не менее величественный сад, о чём говорят широкоплечие пни и змеями ползущие по сухой земле корни. Машина подпрыгивает вновь: чего ожидать от заросшей вьюнами и засыпанной песками тропы?

На горизонте наблюдаю неясный сгусток движений. Приглядываюсь: по рыжему песку сбегает разъярённая армия. На схожий улей зудящих человекоподобных. Люди бьют друг друга: наползают и ухватывают, убивают и насилуют. У них странные одежды и странные лица. У них страшные лица.

Я счастливая.

Так сказали родные и – в последующем – приобретённые сёстры. То оказалось правдой, потому что я оказалась отстранена от мира внешнего. Ужасного мира, где человек – губитель, прокаженный и урод, посмевающий величайшее из своих же творений распять и умертвить. Человек не кусал яблоко, он и есть яблоко, а потому все мы пропащие. Яд и порок строчат по венам молитвы неистинным богам. Несуществующим богам. Кто и с кем вёл войну? Чьи Боги схлестнулись в кровопролитной схватке?

– Это Дикие, – объясняет девочка, уловив мой взгляд. – Они сражаются сколько себя помнят, но зачем сражаются уже не помнят. Дело привычки...

– Привычки – у обыкновенных людей, у отдающих приказы – исключительно мотивы, – пререкаюсь я.

– Дикие не имеют армии, – спорит ясная голова. – Это люди из деревень.

– Думаешь, в деревнях не находятся главные и вышестоящие? Думаешь, не находятся целые деревни под руководством армий?

– Аппарат правления отсутствует и...

– Хороша легенда, если ей подчиняются зрелые и её слушаются подрастающие. Но ты же не веришь в войны без причин и последствий...?

Девочка замолкает.

А я вспоминаю Яна: наша с ним борьба тоже не могла называться войной без причин и последствий.

Женщины слизывают с нанёсшего им удар лезвия собственную кровь и охотно просят добавки.

Мы пили. Он угощал – в очередной раз танцующим на дне стакана – напитком. Я в глоток утолила жажду и стаканом ударила по столу, отчего соседствующие бутылки вынужденно подпрыгнули. Ян посмотрел на меня – бегло и без желания; от привычки.

Он в шутку (как однажды: за аналогичную вольность) сказал, что разрешения не давал. Но алкоголь, кажется, в секунды ударивший по разбитому сердцу и недееспособной голове (а, может, то была причина или прикрытие), велел не без дерзости швырнуть словесный укол и.. стакан в окно.

– А это?.. – вскрикнула я. В ту же секунду пришли звук битого стекла и визг прибирающейся в саду прислуги. – О, просто добавь в список, Хозяин Монастыря. Отметим моё непослушание!

Ян замолк и чертыхнулся. Искажённо глянул на распахнутое окно, а затем на меня.

– Ещё раз так сделаешь...

– Что? – в очередной раз перебила. – Накажешь? Думаешь, почувствую?

– Убирайся.

И я встала.

Кажется, щёки мои побагровели, но от чего больше...? Мужской бас повторил слова гонения:

– Убирайся, Луна!

– Жаль, что я не могу сделать так же. Сказать тебе: «Уходи. Давай, Ян! Катись из моего сердца к чёрту».

Я ударила его в грудь и покинула стены кабинета.

Я взаправду была пьяна. Он тоже был пьян, но в этот раз не алкоголем.

Буря пустыня окрашивается в ягодно-красные цвета, а сухие реки наполняются алыми водами. В воздух взмывает металлический запах. Голые поля усыпают засыпающие люди. Не люди – звери. Их покрывают рыжая пыль и наши взгляды.

– Госпожа, вам лучше не смотреть, – говорит девочка.

– Лучше? Лучше, чем что? – улыбаюсь я. – Думаю, Хозяин Монастыря не без причины избрал для меня этот путь, верно?

Он хотел, чтобы я видела мир в его действительных цветах: не в копоти отдалённого нефтяного городка, не в блеске величайшего блудливого дома, не в позолоте собственных грёз при взгляде на отдалённый Полис. А в его истинном цвете: оранжевом и красном.

Вскоре я вновь приползла к кабинетным дверям. Может, на следующий день, а, может, в тот же вечер; от переживаний счёт часов не заладился: в головах наших день и ночь перемешались, перемешались ссоры и примирения, перемешались проклятия и прощения. Сколько-то дней мы крутились в неясной субстанции. Липко. Чахло.

Дверь была открыта (что удивительно), и я разглядела силуэт Ману. Голос мамочки причитал, что Хозяин наш – редкостная дрянь, копытное и рогатое, злобное и глупое существо. И Хозяин отвечал, чтобы женщина впредь выбирала слова. И она выбрала:

– Ну и дерьмо же ты, Ян!

– Ты от дерьма, помнится, родила, – кольнул он.

Женщина растерянно отвернулась. Лицо её исказилось в непонятной гримасе. Что это было? горечь потери или стрекочущее воспоминание? Ян прижигал бедром собственный стол: бросил взгляд на закупоренную бутылку, поднял её и поигрался, перекидывая в руках, после чего замахом разнёс о край столешницы и крикнул что-то на старом наречии. Брызги и осколки разметались по полу и облизали ноги.

– Ты скучаешь по нему? Хотя иногда. Думаешь о нём? – аккуратно (в этот раз) подступила женщина и смахнула с дивана несколько стёкол, похожих на наконечники стрел.

– Нет, – ответил мужчина. – О нём думают другие люди.

Абсолютно спокойно и даже безучастно. Хотя речь, кажется, шла об их общем ребёнке.

– Иногда я представляю, как бы всё сложилось, не отдай ты его, – скулит – так на неё непохоже – Ману.

Укор или истина? С умыслом или без...? Они били друг друга – метко и уводя от изначальной темы беседы.

– Тогда бы он был мёртв, – отрезал Ян.

Ману нахмурилась и закурила. Во рту – красиво-слаженном – она сцепила острую сигаретную иглу.

– Ты бы не сделал того, – процедила женщина и пустила вдоль рабочего стола пару колец.

– Это я и собирался сделать, – хмыкнул Ян и – наконец – посмотрел в её глаза. – Зачем ты пришла, Ману? Выказать драгоценную (исключительно для тебя) точку зрения? Попытаться повлиять на уже принятые мной решения, которые

вылились в слова и действия? Чего ты хочешь?

– Добавить, что ты поганец, которого не простят обе, важные для тебя, женщины, – ответила Мамочка и быстро поднялась. – Не ошибайся, как уже ошибался.

– Молчи.

– Благодарю, Отец, за потраченное время.

Она намеренно заменила «уделённое» на трату.

– Извиняться за него должен я, – без эмоций кинул мужчина и обдал женщину презрением. Не хотелось бы мне так же – в будущем – походить на оскалившихся гиен и без конца драть уже сгнивший кусок мяса. – Ты переоцениваешь себя, Ману.

Последнее он выдал уже ускользающему силуэту.

– Неужели ты ничего не понял? – вдруг вспыхнула Мамочка.

Она обернулась и свирепо махнула руками.

– Ничего, Ян? Пустая твоя голова! Ты отталкиваешь от себя единственно-принимающих тебя людей. Единственно-терпящих, потому что каждый твой грех я оправдываю, а эта девочка – да, Ян, всё дело в ней! – за каждый из них истинно молится.

– Это она сказала?

Недобрый прищур исказил часть лица. Кожа на месте ожогов наползла словно складка ткани.

Я ничего не говорила.

– Для того, чтобы оказаться услышанным, иногда достаточно смолчать. Для того, чтобы услышать – достаточно видеть, – ответила женщина и уже спокойно расправила плечи. – Я, право, думала, ты изменишься. Я думала, ты изменился.

– Не смог, – признался мужчина.

– А пытался?

– Она здесь, – перебил Ян. – Вот в чём дело, понимаешь? Она всё ещё здесь.

– Да-да, – рукой отмахнулась Мамочка. – «Женщины слизывают кровь с нанёсшего им удар лезвия», знаю я твои песни...! Поганец!

И в этот миг я решительно зашла в кабинет. Без стука, разрешения и приглашения. Чтобы воочию застать раскаявшиеся лица гиен, чтобы не сойти за подслушивающую, чтобы притушить накалившиеся между говорящими угли. Но иногда поток ветра или струя воды лишь добавляют огня.

– Не теряй моего расположения, Ману, – сказал мужчина и взгляд свой утаил в очередной порции бумаг на краю стола. О чём он вечно читал, над чем работал, что писал? – Неизменно в Монастыре одно – только Мы с тобой. Твои слова.

И то оказалось правдой, потому что за пределами Монастыря оказалась я. И сейчас наблюдала зияющий на горизонте Полис. О, чудо-город, он стоил затраченных на дорогу сил. Его красота стоила того, чтобы её увидели и оценили.

Девочка в кибитке говорит: через город мы проезжать не будем – то не требуется.

– Почему? – спрашиваю я (больше от расстройства и желания хоть с кем-то обмолвиться словом-другим, нежели от интереса).

– Таков маршрут Хозяина.

– Почему?

– Конвой едет по запланированному пути.

Съезжать с пустынных дорог – опасно, дурная...! Такие пояснения должна была принести девочка. Сходить с маршрута – гиблое дело; конвой разорят местные банды и дилеры, решив, что в город пребывает до изнеможения важный груз. Груз – взаправду-то – был важным, но не в кругах города.

И потому я наслаждаюсь видом Полиса издалека. Высотные – уцелевшие – здания смыкаются друг с другом острыми зубьями и хищный рот на фоне убегающего солнца отливает позолотой. Пыль обвивает основания, а грязный туман добавляет колец почти на верхушках. Город курит. Решаю закурить и я.

Девочка желает воспротивиться, но на мой едкий взгляд – свой притупляет и смущённо прячет в складках юбки.

– То-то же, – хмыкаю и сжимаю сигарету в зубах.

Что могло ожидать нас с Яном в эпилоге? жар или немая тишина? спокойствие или отсутствие интереса? грусть, печаль и сожаление о содеянном...? мы принимаем век таковым и не чувствуем абсурда или каемся друг перед другом?

Я зашла в кабинет. Хозяин Монастыря чертыхнулся в мою сторону, приговаривая, что пол усеян битым стеклом.

– Чувствую, – ответила я и переступила с пятки на пятку, а мельтешение это сопровождал нежнейший хруст.

– Может быть больно.

– Уже, – улыбнулась я.

Улыбнулась ему. Улыбнулась затаившейся и задержавшей дыхание Ману.

– Иди сюда, – бросил Ян, но губы его задрожали.

Сделала безропотный колющий шаг навстречу – в подтверждение его паскудной теории. Второму шагу случиться не позволил – под мужским ботинком лопнуло

несколько пластин; присевши, подхватил за бедра и перенёс, усадил на стол. Сам же Ян припал на колени и сковал в ладонях щиколотки.

– Не шути с битым стеклом. Оно оставляет шрамы и вносит заразу.

– Что-то напоминает, – поиздевалась я, пока он доставал крошки из пят. – Смутно.

Ян поднял глаза и многозначно улыбнулся. Ману вздохнула и послала нас к чёрту, назвав ненормальными.

– Вам это нравится, и всё тут, – сказала она и быстро вышла из кабинета. – Бороться с вами за вас я не намерена!

Кровь скользнула по его пальцам, и меня – словно бы – обдало жаром.

«Будет больно?»

«Если ты захочешь, – усмехнулся голос».

«Ты понимаешь, о чём я, не издевайся»

«Если ты захочешь», – уже без нрава повторил голос.

«Ты боишься не боли, а неизвестности», – ещё ранее молвил он. Сказанное было равносильно просьбе довериться.

Кровь скользнула. Простынь окрасил почти невидимый штрих.

Смотрю на Хозяина Монастыря, послушно притаившегося в ногах и устраняющего последствия собственной вспыльчивости. Так будет всегда?

– Зачем ты сделала это, Луна? – спросил Ян. – Что пыталась доказать? К чему показательность? Будет шрам...

Я склонилась к нему и взяла пальцами за подбородок, подтянула к себе – к лицу – и процедила:

– Сочувствую, если ты не понимаешь.

После чего, прихлопнув по щеке, оттолкнула.

– Ненавидишь меня? – в какой-то из следующих дней спросил мужчина.

Импульс уже прошёл (разбитый стакан в кабинете заменили новым, а на ноге осталась запёкшаяся отметина) и потому я спокойно ответила:

– Это слишком сильное чувство.

– Ненавидишь в меньшей степени? – предположил Ян: в полу-шутке, в полу-травле.

– Не знаю, что я чувствую. Ничего.

– Так не бывает.

Я задумалась и наспех выдала:

– Наверное, страх.

– Не поздно ли...? – переспросил мужчина. – Самое ужасное, радость моя, ты пережила.

– И не за красным балдахином, – кольнула следом. – Страх, что ничего не чувствуется, и всё тут, – добавила я. – А ничего порождает страх, порождённый ничем. Безрассудство, не находишь?

– Твоё право.

Как просто.

Мужчина покинул рабочее место и подошёл к вечно-распахнутому окну. Ветер зашевелил отросшую шевелюру.

– Мне жаль... – едва слышно процедил сухой голос. Под нос. В окно. Даже не мне...

Я ожидала продолжения, но продолжение до адресата не добралось.

О чём он мог жалеть, если ни о чём и никогда не горевал? В этом его суть, его характер, его принципы – он сделал то по велению сердца (копчённого и вычурного), он сделал как сделал бы любой другой (мы не стали чем-то особенным). Он поступил правильно – и на свой лад, и на свой век. Тела наши, начала понимать я, всего лишь разменные монеты: и были, и есть, и будут. От года к году, от войны к войне, от мира к миру. Тела – лишь оболочка; расплаты и духовности в том нет. Мы оправдали привычный ход вещей, но не оправдали ожидания друг друга, ибо именно ожидания выходили из-под пера высокого. Однако...тогда бы мы не стали собой.

Сейчас я отмечаю, что извинения свои он так и не принёс – извиняться было не за что (как просить прощение за сделанное на трезвый ум и осознанно? за личное желание и убеждение...?). Он выплюнул «мне жаль» для утешения; жаль ему не было – он сделал, что хотел. А я выплунула в ответ:

– Кто мы?

В мире Хаоса и друг для друга.

Ян велел подойти, и я послушалась. Осторожно касаясь талии, он пододвинул меня ближе к окну. На сухом горизонте танцевала рыжая пыль. Вихри песка обнимались и толкали друг друга, а пепел мрачных городов – вечно горящих коротышек – едва долетал до нас. В этот сезон крохотные деревни, направленные на производство, горели. Моя деревня – нефтяников, в нескольких днях пути – высыхала и трескалась, эти же – с остатками лесов и с домами из старого перегнившего дерева – танцевали в пепле.

Я смотрю и на пыль, и на песок, и на пепел.

– Вот мы, – сказал мужчина.

Вечно-танцующая образина. Безобразие. Оказывается, беда человечества заключалась в самом человечестве.

Я посмотрела на грустное лицо близ меня и – по воле одурманенной в очередной раз головы – приложила её же к груди. Руки сцепились у меня за спиной, а пальцы впились в несколько позвонков.

Ему не было жаль, потому что он ничего не терял.

Я была рядом.

Объезжаем Полис дугой. К вечеру город пестрит огнями: пыль оседает, поднимается туман. Возможно, идёт дождь: там он в действительности – далеко от иссушенных дочерних деревень – бывает.

Ману рассказывала, что городские – жестокие сквернословцы, обезумевшие дикари и безнаказанные убийцы. На улицах властвует произвол; дороги сжимают под собственным прессом контролирующие секторы города группировки, контрабанда проползает меж оголённых плеч, а люди рассыпаются под веществами и сношениями. Полис уродлив. Там живут нечестивые, там живут Люди. На мой вопрос, для чего построено это место, Ману отвечала: чтобы собрать зверинец воедино и – когда-нибудь – изничтожить его.

– Ковчег, который следует потопить, – говорила женщина.

Я думала, небесные боги живут в черте Полиса, а – оказалось – они живут на его окраинах (каждый на своём участке, отвечая за свои дела, неся определённые функции). Бог Воды, например, живёт близ дамбы, чтобы решать рабочие вопросы по мере их возникновения (да, Бог – лишь профессия; название, слог). Богиня Плодородия живёт на землях с устойчивыми посевами, дабы приезжие гости наслаждались видом царствующих колосьев пшеницы и кукурузы (хотя все знали, что она бесплодна и земли её – тоже).

А вот люди, живущие в Полисе (с рождения или однажды забредшие туда), Полис уже не покидали. В том была их вера. В отличие от деревенских

послушников, читающих молитвы земным богам (Почве, Влаге, Зерну и прочим), они обращались к небесному пантеону и высоко почитали его звание, отчего не рвались на исследования и на чужие территории не забредали.

Неверующие в городе не встречались. Если в Полисе объявлялся неверующий – он моментально исчезал. Никаких движений – пропагандистских касательно религии – не было. Все верили в откровенно плюющих на них богов из небесного пантеона и презирали деревенских за их неразумность (ибо земные боги не были зримы; они – лишь понятия, плавающие в воздухе: несуществующая масса). Небесными же выступали важные господа. С ними можно говорить. Их можно увидеть.

И вот мы объезжаем упомянутый Полис. Конвой трясётся от гальки под колёсами, я трясусь от страха перед неизвестным.

– Продай меня, – умоляла я. – Отдай в жёны. Не хочу здесь находиться, не могу быть в Монастыре.

– Ты подписала договор.

– Со мной ты заключил ещё один, – настояла я. – Вот здесь. – И прикоснулась к его груди. Руки задержала на теле, а затем – впопыхах – утаила в карманах платья. – Я прошу тебя, Ян. И могу просить, потому что мы с тобой не чужие друг другу люди.

– Вот ты как заговорила. Кошка, – причитал мужчина. – Научилась...?

– Отдай меня в жёны. Продай ещё раз – контрольный.

– Зачем?

Действительно, Ян?!

– Не хочу находиться в Монастыре, – повторила я и следом пустилась в объяснения. – Не хочу быть с другими. Не хочу ломаться под иную норму. Не хочу быть в системе.

– Только поэтому?

Он знал истинное положение дел, так отчего не унимался и пылил? Нашей общей скорби было недостаточно?

– Давай, говори, – провоцировал мужчину. – Ведь мы не чужие друг другу люди.

На издевательство я закрыла глаза. И вместе с тем я закрыла их на признание:

– Не хочу видеть тебя. Вот так просто.

– Это ли просто? – бросил раздосадованный голос.

– Каждый раз, день ото дня, секунда к секунде мне, Ян, паршиво, когда мы встречаемся. И я не хочу тебя видеть, не хочу знать, не хочу даже помнить.

– Помнить ты будешь.

– Надеюсь, что ссадить станет меньше, если ты окажешься дальше.

– Значит, ты не простила меня, – улыбнулся Ян. – И не простишь.

Улыбнулся, потому что ничего другого не оставалось. То не было радостно, не было грустно; было никак: уголки жалко и жадно поднялись (словно подтянувшиеся нитями) и жалко и жадно расслабились.

– Никогда, – в который раз призналась я, хотя не слышала этих чёртовых извинений. – Поэтому прошу отдать в жёны. Устрой торги: выстави свой лучший лот, давай. Я знакома лишь с одним, если то важно...

– То важно исключительно тому одному. А твой, вот так совпадение, в жёнах не нуждается. – Ян задумчиво упёрся кулаками в подбородок. – Разве ты хочешь стать...? ты разродишься, радость моя, в первый год, во второй и так следом каждый; и каждый год ты будешь терять свою красоту. Этого ты хочешь? А быть одной из десятков и сотен ты согласна?

Он говорит о многочисленных жёнах (среди небесных богов многожёнство – не грех; среди простых смертных – вероятность казни).

– Я и здесь буду одной из десятков и сотен. Но здесь я буду продаваться раз за разом, там – единожды.

– Не хочу я.

– Что?

Ян выглядел поникшим. Уставшим, рассерженным, взъерошенным, тоскливым, недовольным и ещё, и ещё, и ещё...Он запечатлел на себе всю скупость наших насыщенных и насыщающих отношений.

– Не хочу я отдавать тебя кому-либо, – оттолкнул от себя мужчина и приложился к бутылки, которую до этого пытался игнорировать, однако выбитая пробка как бы подначивала: «вопрос времени».

– Следовало думать об этом раньше, – сказала я.

– Думал.

– Но соблазн оказался слишком велик, да?

– Не напоминай. – Возможно в его следующем вздохе отразилось раскаяние. – Не вскрывай рубцы, Луночка.

И я ужалила, как только смогла (а яда скопилось достаточно), воскликнув, что он продал меня, отдал и предал. И Ян перебил оправданиями и ответными криками, что никого он и никогда не предавал, ибо в верности и защите не клялся, а на озвученную некогда просьбу выдвинул беспрекословный отказ.

– Ничего я тебе не обещал, Луна, – подчеркнул мужчина. – Мог лишь спасти...

– Но пожелал того не делать.

– Именно!

– Из-за денег, – усмехнулась я.

– Из-за принципов, – поправил он. – Из-за себя, из-за тебя, из-за мира, в котором мы с тобой живём, и из-за мира, в котором мы уже не живём и жить никогда не сможем. Ты попрекаешь меня за мой выбор, но в своём выборе я всё ещё не сомневаюсь...Ведь ты рядом.

И это ударило сильнее всего. Больней всего. Женщин колит отсутствие борьбы за внимание и убеждённости в завоёванной (однажды и единожды) территории (несмотря на возможность отвоевать эту территорию).

– Я изъявляю желание стать женой знакомого тебе господина, – уверенно отбила я (припоминая первую встречу с Ману). Так уверено, что Ян поперхнулся. Это дословный пункт из подписанного договора.

– Да что ты говоришь? – посмеялся Хозяин Монастыря. – Мой ответ: нет. Нет и разговор окончен.

– Но у меня есть право. Ты не можешь отказывать. У меня есть право...

– Луна, радость, заложи в свою светлую головку следующую мысль...Я здесь главный! Ещё не поняла? Монастырь строил я. Права для послушниц придумывал я. Хочу – отказываю. Хочу – изгоняю. Что я хочу – то и делаю.

В этом твоя беда. Ты заигрался. Ты запутался в собственной безнаказанности. Ты уверовал сам в себя.

И я повторила, что изъявляю желание стать женой важного господина.

– Можешь изъяснить желание стать моей женой.

На то я умолкла. Упёрлась в ничего не выражающие глаза и в шёпоте потребовала объяснений.

– Если попросишь... – добавил Ян. С проявившейся вмиг – отвратительной – улыбкой ровных зубов.

– Что это значит?

– Я искал и до сих пор ищу жену. Ты знаешь и помнишь, – ответил мужчина. – Если попросишь – возьму в жёны тебя.

– Если попрошу...? – повторила я.

Мужчина самодовольно кивнул:

– Если попросишь.

– О, я попрошу... – слова в шёпоте спрыгнули с моих губ, – я попрошу, Ян...

Ты заигрался.

– ...я попрошу тебя пойти к чёрту! Пошёл ты, Ян!

Он захохотал.

– Пошёл ты со своим Монастырём, пошёл ты со своими принципами, пошёл ты со своими послушницами, просто пошёл ты сам!

Остыл и загрустил. И опять начал веселиться. Он был пьян, хотя мысли его были трезвы. И повторил:

– Я могу взять тебя в жёны, Луна. Последний раз говорю: только попроси...

– Пошёл ты, Ян! Вовек не буду этого делать. А если считаешь, что я способна – пошёл ты ещё раз.

И мы расстались до следующего дня.

Просыпаюсь от встряски. Кибитка подпрыгивает на выбоинах и я, наплевав на дремлющую подле служку, кричу:

– Поаккуратней, ослы! Не мешок овса везёте.

Девочка испуганно озирается; извиняется, признаётся: думала, напали.

– Кому мы сдались, красавица? – иссушено выпускаю я и отдёргиваю плотно прилегающую занавеску окна. Начинает светать: солнце ползёт по горизонту, озаряя иглы-деревья и давая лёгкий отблеск от пресных луж. – Стоимостью двух мешков овса.

Поправляю ворот платья, взбиваю юбку и приглаживаю волосы. Аналогично поступает служанка.

– Уже скоро, – мягко улыбается девочка, признавая земли за окном.

– Это должно обрадовать меня?

На следующий день, после очередной словесной стычки, Хозяин Монастыря оповестил меня о назначенной операции. Я послала мужчину в очередной раз и настояла на торгах. Ян рассыпался в проклятиях и погрозил наказанием, на что я насмешливо, задрав кайму платья, выплюнула:

– Давай, Отец, сделай же это: я не заслужила, но сделай! Накажи. Тебе нравится. Тебе понравится.

– Глупая ты женщина, – вздрогнул Ян, – если взаправду так думаешь.

– Раньше ты был обо мне другого мнения.

– Раньше я смотрел влюблёнными глазами.

И мы замолчали.

А я простила его. Простила, но сообщить не осмелилась.

– Если не устроишь торги, – однако же прошипела (вместо прекрасных дум), – пойду к Ману. Потому что имею право. Откажешь нам обеим – я убью или тебя, или себя. Пожалеешь лишь ты: при любом раскладе.

– Стерилизация завтра в полдень, – в спину бросился голос.

– Ещё раз упомянешь об этом – стерилизую тебя, – швырнулась в ответ.

На следующий день я вновь оказалась в кабинете Яна: показательно ввалилась в назначенные часы и уселась поверх заваленного бумагами рабочего стола. Алкоголь и сигареты заполняли нас всё больше и чаще.

– Сейчас ты должна находиться в другом месте, – съязвил мужчина, вырывая из-под бедра оставленный без подписи договор.

Я, не обращая на то внимания, вновь обратилась с просьбой. Выдвинула более весомые и продуманные аргументы, внесла желаемые корректировки и спроектировала будущее со всех сторон. Я попросила отдать меня в жёны его другу – наиболее близкому и безопасному; чтобы сам Ян был уверен в моей сохранности и сохранности моего ребёнка/детей, если я смогу выносить их.

– О чём речь, Луна? Это последнее из того, что может меня беспокоить... – проворчал Ян и отдался длительным размышлениям. – Ты делаешь всё это

назло, верно?

– Я делаю всё это для себя, – поправила я.

И далее выпросила, чтобы до торгов (вне зависимости от их результатов, ибо «товар» могли и не приобрести) приходящие божки не являлись ко мне; я разошлась на десяток просьб и вскоре размягчила скрюченное от досады лицо.

– Ты должна работать! – утверждал Ян. – Должна приносить пользу Монастырю и мне.

– Ты ведь не хочешь этого.

– Хочу, – врал мужчина.

– Тогда: не могу этого делать по одному из пунктов нашего договора. Работа – после процедуры, а я её упустила, потому что выказала желание иного.

...гласил один из пунктов, вычерченных на старом наречии, в проклятых бумагах, которые я наградила своим именем в день знакомства с Хозяином Монастыря.

Ян усмехнулся и зарылся в собственные мысли, пытаюсь вспомнить, когда же обмолвился этим пунктом в такой трактовке.

– Что ещё знаешь на старом наречии?

– Достаточно.

– И откуда?

– У меня был хороший учитель.

Хозяин Монастыря посчитал безмерно хорошим учителем себя, однако же хорошим учителем выступила Ману, рассказывающая о тонкостях работы и хитростях нашего с ней Отца.

«Покажи ему, девочка» – подстрекала Ману.

«Желаешь проучить его?» – вопрошала я.

«Желаю обучить свою птичку высокому полёту! И ни один мужчина не посмеет обидеть, если ты будешь знать причину его слов или действий наперёд. В этом у них фантазии мало».

«Желаешь проучить их всех?»

«Надо – жги. Пылай. Взлетай. Так высоко, чтобы в случае падения разбиться насмерть, либо же не пытайся взлететь напроць, чтобы в случае падения не

остаться израненной и скорбящей от поражения. Проучи их всех».

– А что с твоим... – начал было Ян, подразумевая красный балдахин и первую ночь, презрительно фыркнул и отвёл взгляд, – ...тот Бог. Что с ним? Ты бы согласилась на ещё одну встречу?

Проверял меня? Пытался подцепить? Уколоть? Зачем он спрашивал?! Уверенное и ощущаемое «нет» я заменила отвратительным, искушённым взглядом и выдала певчее:

– Разумеется, Ян. Он особенный. Он – совсем другое дело.

– Зря цепляешься, Луна! – неожиданно воскликнул мужчина и запричитал. – Зря-зря...Тебя (да и кого-либо ещё) он в жёны не возьмёт, не строй мечты. Не думай о Первом, соединяя и скрепляя вас в бесконечный союз: это право, эта возможность – исключительна и редка. А вы – из миллионов: порочные и разбитые.

И после мы молчали: я выкурила сигарету, а Ян перевернул кипу бумаг.

Не выдержал, обратился:

– Скажи, Луна, – вдруг загудел недовольный голос – сорвавшись, – он тебе так понравился? Его харизма, что? Или понравился сам процесс? Или он в процессе? Отчего ты отказываешься работать, но перед ним ноги твои сами размыкаются?

Всё внутри притупляется...

Не рычи, Луна. Не огрызайся. Поступай как он. Бей как он. Проучи.

– А, так тебе это покоя не даёт? – сглотнув обиду, протянула я. – Тебе по пунктам расписать, что мне понравилось, или в хронологическом порядке перечислить? Ночь была длинной.

Мужчину окатило злобой и ревностью: в секунду схватил – пальцы сомкнулись замком – за горло. Притянул и хотел выпалить что-то ещё, но я рассмеялась ему в лицо и тем самым заставила отпустить.

Хочешь выжить в мире сумасшедших – будь сумасшедшим или играй сумасшедшего. Велика вероятность обрести этой ролью и породниться с нею, а потому велик шанс найти своё место в этом безумном мире.

Хозяин Монастыря не ожидал такой реакции. Как с моей, так и со своей стороны. Он посмотрел на покрасневшую ладонь, на едва прорисовавшуюся тень на моей щеке и отступил.

– Говоришь, ночь была длинной? – попробовал слова на вкус и едва ими не подавился. – Что-то подсказывает, длинной она была от бездействия. Он не тронул тебя, верно? Пожалел, думаешь ты...Вымолила?

– Ты хочешь в это верить, Ян, но уже поздно.

– Я убеждён.

– Отчего же?

– Ты спокойна, – о, просто тебе неведом пожар в душе, – легка, – груз спрятан за плечами, а потому незрим, – в той же манере измываешься надо мной, подстрекая им, – что ещё мне остаётся? – признайся.

– Спроси у обслуживающих комнаты девочек, если до того опустился. Проверь простыни.

– Я верю в женскую солидарность.

– Тогда правды тебе не узнать. Можешь, конечно, позвать его...и спросить всё сам. Но не покажется ли это странным?

Тут я оступаюсь.

– О, радость, уж что-что, а это странным показаться не может. Тебе неизвестно былое: связывающее прошлое и степень откровенности.

– Ты всегда обсуждаешь своих женщин с клиентами?

– Предпочитаю слушать об их женщинах. Иногда делить.

Беседа вновь перетекает в его сторону, и я должна перевесить: ужалить, усмирить. Дотягиваюсь до остывшей руки и кладу её чуть ниже своей груди, чтобы мужские пальцы могли пересчитать прорисованные рёбра.

– Хочешь знать, делал ли он так?

Опускаю руку, вырисовывая дугу талии, и замираю на ней. Ян чертыхается, скалится и едва не воет, но совладать с самим собой не может.

Ты проиграл.

– Тебя волнует, как далеко он зашёл?

Прилипаю к краю стола и, закинув ногу на ногу, позволяю спуститься до бедра.

– Остался здесь или сделал вот так...?

Отодвигаю раскосую юбку и указываю на внутреннюю часть, где кожа особенно мягка и тепла.

– Ты знаешь этого человека. Как он поступил?

Хозяин Монастыря закрывает глаза. Однако не для того, чтобы представить, а чтобы не видеть. Не думать. Не ловить бархат кожи, не воображать, как ею обладал иной. Или же...?

– Когда он касался одних губ, – заключила я и показательно прикусила изнанку щеки, – пальцы у него были холодные. Когда касался других – горячие. Угадай, в какой момент какие?

Я соврала, но то подействовало.

Ян ругнулся на старом наречии. Рот его наполнился обилием шипящих, глаза – гневом. Отодрал руку от моего бедра и ею же схватился за челюсть.

– Я не верю тебе.

– И не должен, – пожала плечами. – Но в следующий раз, когда встретитесь с ним, присмотришься к его губам и предположи, где они были, – я засмеялась, а Хозяин Монастыря повторил ругательства. – Позволишь ему подписать хоть один документ, зная, что сжимающие перо пальцы, сжимали нечто ещё? Позволишь ему говорить, разрезая воздух языком, с осознанием, что ещё изучал этот язык?

– Закрой свой поганный рот, Луна, – обмяк мужчина. То было поражением с его стороны и первая одержанная мной победа. Вкус был сладок, хотя немного отдавал металлом.

– Чего ты завёлся, папочка? Хотел пригласить в спальню? Расслабься, Ян, обойдусь без твоего пыхтения.

– Что ты сказала?

– Сказала, мне необходимо новое платье. Хочу синее, в пол. Могу просить тебя о новой одежде?

– Послушницы не могут... – в попытке сделать хитрую улыбку, ответил Ян. – Ты можешь.

Так просто. Ману говорила: «Лови мужчину: провоцируй, подстрекай, ибо действия эти вызовут у него природный экстаз, естественную эйфорию. Пушай возгордится от осознания собственной значимости, если посмел добыть своими силами нечто тебе недоступное. Пользуйся, птичка». И в конце учения Мамочка добавила: «Думаешь, мужчины используют женщин? Поступай обратно. Позволяешь иметь себя – имей первостепенно».

Под окончание недели Хозяин Монастыря принёс желаемое.

Я скомандовала отвернуться и скинула с себя старые одежды: телесные чулки и чёрное, больше походившее на пеньюар, платье на тонких бретелях. Ян – так на него непохоже – послушался. И лишь мгновение спустя позволил глянуть на пущенную в пол юбку насыщенно-синего цвета.

– Достаточно синее?

– Можно утонуть.

– Согласен, – вполголоса обронил Ян и взглядом припаялся к – удивительно, но не свежему наряду – лицу. – Выглядишь...желанно.

– Считаешь...? – решила поиграться я. – Тогда...почему бы тебе... – Я посмотрела через плечо и притупила взор, а по переменившейся мимике поняла, что мужчина ещё до окончания фразы построил иную беседу и мысленно отвёл меня в спальню. – ...почему бы тебе... – затаил дыхание, – действительно не разрешить посещение Гелиоса?

– О, и он тебе своё имя назвал, – отметил мужчина – недовольно, сухо и обиженно. А взгляд поник, и плечи опустились. – Неплохо, Луна, неплохо ты проникаешь в мужские головы и собираешь мужские сердца.

– Да, – согласилась я. – Ищу не перегнившее, одно уже попало.

Ян подступил и, взяв за локоть, притащил к себе.

– Повтори?

Я смолчала.

– Повтори! – прошипел он на взгляд безучастный, непринуждённый и потому раздражающий, ничего не выражающий и потому вызывающий самый разнообразный спектр чувств.

Я показательно сомкнула губы и повела бровью: то сводило с ума. И вой – изнутри, из глубины – распилил его грудную клетку.

– Ты будешь говорить?

Улыбнулась.

– Дрянь! – выпалил голос, а я кивнула очевидности замечания.

И – вдруг – мужчина подался на меня. С тем же распирающим его воем и мутным взглядом, с проклятиями на старом наречии и в старой попытке прицепиться губами. Я вырвалась. Вырвалась и, не позволив поцелую (то было похоже на него?) свершиться, ударила. Ладонь прижгла мужскую щеку. Ян опешил и замер. Секунды заскобили полые стены и наши полые души. Ману говорила: «бей первой, если знаешь куда бить», Ману учила: «нападай на подставленное горло и вонзай клыки; не жди от хищника лукавого взгляда и медленной походки – то предвещает крах». Нападай, Луна.

– Что ты себе позволяешь? – вскрикнула я. – Как смеешь?

Хозяин Монастыря мог наказать. Он должен был наказать. Он был обязан! Но Ян лишь омрачился и, понутив голову, возжелал покинуть примерочную. Не позволила ему дойти до распахнутой двери, как выпалила:

– Я не отпускала тебя!

Хозяин Монастыря обезумевши рассмеялся и попрекнул в безумии.

– Считаешь, можешь так поступать? – продолжила я. – Уходить, когда вздумается? Целовать, когда захочется? Брать, когда пожелается? Нет, Ян. Ты будешь со мной считаться! Ты будешь меня слушать. Ты будешь меня уважать!

– А ты заслужила? – развёл плечами мужчина и прикусил губу. – Ты заслужила уважение?

– Я его и не теряла, пустая твоя голова. С первой нашей встречи.

– Если бы ты прирезала этого божка, пока он спал, я бы уважал тебя.

– Но... – голос предательски дрогнул, – мы заключили договор. С тобой.

– И?

– Ты велел слушаться. Просил слушаться. Не хотел, чтобы мы нарушали договорённость. Сказал, что мир такой и...

– Видишь? Система нерушима, и мы в ней – крошечные механизмы. Все мы послушно исполняем свои дела, зная, что по-иному быть не может, и мир не меняется...Но ты не лишена выбора, не лишена мнения, Луна. Этим отличительна от послушниц.

– Неужели? – скептически отозвалась я, складывая руки в начало молитвы, на что укоризненный взгляд пересёк расслабленное лицо.

– А беда в том, что отдалась ему ты сама, причём охотно. Не потому, что он пожелал или заплатил, теперь я вижу, – Ян нервно подбросил плечи и нахмурился. – Вижу в тебе: в походке, в манерах, в речах, в словах. Я вижу в тебе силу, которой награждены лишь пребывающие в пантеоне. А Гелиос...ничего у тебя не забирал – лишь приумножил имеющееся. Отдал часть себя. Насытилась, суккубка?

– Чего ты ожидал?

– Смирения.

Я улыбнулась.

– Именно. Но нет в тебе этой черты, как не воспитывай. Твоя же сила тебя погубит.

– Как погубит тебя твоё упрямство? Или это страх?

– Стыдить тебя, Луна, я не намерен. Не оправдывайся за то, что тебе хотелось или нравилось, – сказал Хозяин Монастыря, вопреки моему горделивому взгляду и – однако – проявившемуся румянцу. Кожа ощутимо пылала. – Ты разозлила меня однажды, но более дешёвых представлений не устраивай. Они не сойдут с твоих подлых ручонок.

– Не сопротивляйся, Отец. Позволь ягнёнку в чёрной шкуре указать тебе путь.

– Похоже, что у меня получается сопротивляться?

Ян умасливал и как-то легко – для такого человека как он – признавался в поражении. Я ощутила подвох.

– Хотел сломать тебя, – признался мужчина. – Это не единственная причина, по которой я не отменил торги, но она имеет место к числу прочих. Хотел подчинить твою волю. Хотел, чтобы ты встала наравне с Ману – выше послушниц, но ниже меня.

– Не получилось?

– Не получается.

Отметила очередную победу: мы стояли вровень.

– Следующая причина? – простодушно выпалила я, словно бы признания секундами ранее были мне безразличны.

– Ещё рано, не могу об этом говорить. Но дело в Боге, что опрометчиво назвал тебе имя и посвятил тебя в таинство монастырских дел. Просто знай, Луна, человеку этому я обязан до конца своих дней – и ты (даже ты!) малейший из даров, который я могу поднести.

– Не забывай этого, когда я стану его женой, и неси мир в наш дом.

Ян засмеялся, попрекая меня в наплывшей наивности и глупости, попросил не играть и не приплетать к нашим играм упомянутого. Он отрицает брак.

– Так хочешь стать женой?

– Так хочу не видеть тебя.

– Ну, будь по-твоему, – отрезал Хозяин Монастыря, а по лицу его расползлась хитрая улыбка; прищур взял глаза, лоб заблестел от пота. – Но знаешь ли ты, радость, что знающие себе цену обыкновенно не продаются?

– Как это понимать?

– Попроси прощения, и я оставлю тебя в Монастыре.

Ян к чему-то подводил. Подводил и готовился в любой момент ужалить. Нет, больше. Нажать на спусковой крючок. Курок был взведён.

– Ты услышала меня, Луна, не впирайся упрямым взглядом. Всего лишь признай вину и раскайся. Потребуй милости. Извинись за собственное поведение, иначе я продам тебя за мешок овса первому же божку.

В ответ я не без улыбки смолчала – то подожгло фитиль.

– Скажи хоть что-нибудь! – рявкнул Ян.

– Надеюсь, свежего урожая. Овёс, – протянула я и отвернулась. – Уходи, Отец. Нам не о чем больше разговаривать, а я должна переодеться. Прочь.

Мужской стан застыл подле. Неловкие бесшумные чертыханья гудели во всю мощь четырех стен, где мы были заключены.

– Убирайся...

– Из комнаты или из сердца? – опешил Хозяин Монастыря.

– Нет у нас с тобой сердец, иначе бы не издевались друг на другом. И душ у нас нет. Лишь полые тела.

– Уверена?

– Исчезни! Мне докучает твоя компания! Хуже запертого окна, хуже клетки.

Ян рассмеялся и по-юношески вдел руки в карманы. Запричитал о наглой послушнице, изгоняющей Отца из его кельи и отгоняющей от его паствы.

– Ты, радость, в моём Монастыре, а потому...

Не позволяю высказаться:

– Я в голове твоей, а это много хуже. Переживёшь, Ян, перетерпишь. Несчастную примерочную точно. Но пока я у тебя в голове, буду делать всё, что возжелаю.

– Суккубка, право.

Рука заботливо поправила смольные волосы: перенесла за ухо напавшую на щёку прядь. Тёплое дыхание мимолётно обожгло.

Останавливаться было нельзя, и потому в речах своих я не остановилась:

– Если возжелаю Бога Солнца – его свет окажется направлен на меня. Если возжелаю умертвить целый город – армия двинет туда. Если возжелаю испытать с самой смертью – она подаст мне кубок.

– Продолжай, – лукаво пальнул мужчина.

– Если возжелаю к ногам Монастырь – ты распахнёшь кабинетную дверь и уточнишь, подавать сигары сейчас или к выпивке.

Последнее порезало мужское сердце (мысленно я не отрицала его наличие) напополам. Эгоистичная натура тряслась лишь над этим. Он безумствовал над пороком дышащим местом, раз за разом и при любом импульсе боялся потерять его. Уродливое место было дороже иных. Стены были превыше плоти.

– Проиграла ты, радость, – вдруг выплюнул мужчина. – Мешок овса, торги открыты. Оставь эту тряпку для первой встречи с новым хозяином. Большого за свою цену ты не получишь.

Нет.

Нет, не может быть.

Ян одарил презрительным взглядом и поспешно оставил комнату.

Не может быть.

Он знал...всё это время знал и издевался?!

Я поймала собственное отражение: испуг и отчаяние переливались друг с другом и по щекам; бледность растеклась до ключиц. Можно было не притворяться, а потому я схватилась за голову и одиночно всхлипнула. Разговоры с Хозяином Монастыря всегда оканчивались одинаково: чувством опустошённости и отрешённости. И вечной его победой, потому что без ощущения превосходства он не уходил. Даже ценой чужих слёз и выставлением чужой никчёмности.

Я утёрла взмокшие глаза и отправилась в сторону главного зала, где таинственно возвышалась монолитная дверь, скрывающая выход в мир свободы, и сопутствующая решётка, чтобы послушницы не забывали о своей животной натуре и – в частности – сучьей функции.

На выходе стояли двое. Я опередила их грязные речи, бросив колючий взгляд и приказ отворять. Мальчишки переглянулись: сначала улыбнулись, затем – насупились.

– Открывайте. Мне долго ждать?

– Ступай, монастырская кошка, – любезно сказал один.

– Твои дела этажом выше, а выходить на улицу нельзя, – плешиво молвил следующий.

И следующий схлопотал пощёчину. Хотел взорваться, ответить – друг его придержал (послушницы неприкосновенны со стороны служащих, но, кажется, обратного наказа не существует).

– Я велела открыть дверь. Мне звать Отца?

– Вы по его решению...?

– Я даже не с его разрешения! – отрезала следом. – Но я могу то сделать, и ни Отец, ни Вы не помешаете.

Один потянулся к нависающему замку (неужели выбраться отсюда было просто и всегда осуществимо?), однако второй воспрепятствовал.

– Вам ещё неведомо моё имя, – пренебрежительно кинула я, впитав в себя все услышанные некогда речи приходящих богов (а я знала, что все они лжецы и притворщики), тут же благодатно улыбнулась и подвела: – Но скоро Монастырь задышит под моим началом.

– Вы будущая Хозяйка Монастыря? – оживился мальчишка, а друг его – с ладонью на щеке – виновато потупил взор.

– Хуже, – улыбнулась я.

– Откройте ей, – отрезал выплывший за спиной голос.

Ян поддержал плечом колонну. Руки, в очередной раз, вдел в карманы, в зубах скрепил тонкую сигаретную спицу (не успел поджечь). Я видела, как всё в нём закипело и накалилось, как взгляд утаил меня в окрестностях Монастыря, под землёй.

Двери отворились, и решётка отъехала. Я перешагнула через порог. Неужели...неужели могла сделать это раньше? Неужели могла просто выйти?

...но то было бы безрассудством, глупостью, ошибкой. Через пустыню обыкновенным шагом не уйдёшь, а вот бредущих по воле (и без) лиц встретить можешь.

– Ступай, – подстрекнул Ян, окатив ледяным взглядом. – Ступай, Хозяйка Монастыря.

Меня сдавила его малодушная интонация.

– Оставляй своих послушниц и рабов, – продолжал голос.

Охраняющие дверь переглянулись.

– Пожелаю оставить главного из них, – уколола я и побрела в сторону сада.

Силуэт Хозяина Монастыря двинулся следом. Тень упала на осоку и пару подстриженных древ. Я тронула свисающую ветвь и едва не расплакалась. Для умиротворения и удовлетворения требовалось так мало.

– Это всё, чего ты хотела? – уловил мужчина.

– Достаточно было спросить.

– Желания послушниц беспокоят меня в последнюю очередь, позабыла? – упрекнул он, отдавая воспоминаниям разговор в день знакомства. – Превыше моих желаний на этой земле ничьих нет и не будет.

– А если они совпадут? – я улыбнулась – впервые за последние дни – искренне. То растопило мужское сердце: вынудило без ума нагнать и, взяв за руки, обернуть на себя. Моё же сердце растопили шелест крон и запах зелени. И всё-таки для спокойствия требуется немного.

Ветер подхватил мои волосы и приласкал ими мужские плечи, спровоцировал сплетни шуршащих трав и подглядывающих послушниц.

– Прекрати издеваться, ведь я не могу этого сделать, – спокойно отозвался Хозяин Монастыря, заглядываясь на губы.

– Я тоже, – ответила я, заглядываясь в потерянные глаза.

– Хоть и хочу, – уточнил более невластный голос. То значило: принципы нерушимы. Принципы Монастыря, личные, мирские. Порядок нерушим.

– Взаимно, – упрекнула я. То значило: после совершённого и свершённого прощение не придёт, после его решений (в моём понимании – ошибок) как раньше быть не может.

Пальцы прогулялись по плечам и взобрались к лицу. Ян поправил вырывающуюся прядь и спадающую бретель.

– Убери свои руки, – с трудом выпалила я.

Так резво, броско, вопреки распирающей груди.

Здание Монастыря обросло глазами и ушами. Все и всё смолкло: и дрожащие деревья, и воющие на горизонте пески, и ревущие над разбитой дорогой вороны, и плывущие по небу сухие облака.

– Предпочту остаться верной женой. Убери свои руки.

Хозяин Монастыря послушался. А затем склонился к лицу и лбом припал ко лбу. Зажмурился.

– Страдаешь, Ян? – нашептала я, ибо тайна имени ещё существовала, а тайна чувств была очевидно нелепа и потому недостойна громких речей.

Но разве не самые главные слова произносятся едва слышно?

– Я радуюсь, Луна, – солгал Хозяин Монастыря и измученно засмеялся.

– Очевидно.

– Ты заслуживаешь имени своего мужа и его самого, это верно. Вы одинаковы.

– О чём ты?

– Словно близнецы...Потому мы сошлись с тобой в речах, Луна. Вы схожи с ним.

– О ком ты? Разве был вечер торгов?

– Был.

– Но... – голос дрогнул, – ты не устраивал их, не представлял жён, не показывал послушниц, не обращался ни к кому с предложениями...

– Ты не собиралась уходить? – спросил Ян, словно бы из последних сил хватаясь за удирающий момент.

– Я провожу с тобой всё своё время и знаю о всех твоих планах – никаких торгов не было.

– Ты не собиралась уходить?! – настойчивей повторил мужчина.

– Я покину Монастырь, – ответила безынтересно. – Ты знаешь, Отец. Вслед за супругом, я уйду.

– Вот и всё, – челюсть его скрипнула. Ответа он ожидал иного. Мольбы? Расспросов? Просьбы? – Твоё решение, Луна. Вновь оно.

Грудь раскололась.

– Ты лжёшь, – улыбнулась я.

– Хотелось бы мне лгать.

– Поучаешь? Наказываешь?

– Хотелось бы.

Он не мог так поступить. Ян – эгоист, циник и собственник; а потому принадлежащее ему должно находиться в Монастыре. Никак иначе. Но лицо – поникшее, опечаленное – удручает и заставляет верить. Когда...?

– Можешь ударить, Луна, но позволь этому случиться, позволь это сделать.

И Хозяин Монастыря склонился, замерев перед губами. Я подалась навстречу, но в воздух взмыло животное ржание. Откуда...?

Хозяин Монастыря бегло обернулся на металлические жерди ворот, через которые – то видно – на горизонте вырисовывался диковинный силуэт.

– Не стоило упоминать его имя, – протянул Ян.

– О чём ты? – спросила я. – Кто и чьё имя упоминал?

– Прошу, иди.

– Просишь? – бровь нагло вато дрогнула.

– Прошу.

– Этого недостаточно.

– Прошу, Луна, – выдавил Хозяин Монастыря и – неожиданно – рухнул на колени. – Вот. Я прошу тебя: ступай. Ты сломала что-то во мне. Иди. В комнату, в бани, на кухню – куда пожелаешь. Можешь избить охрану, можешь помолиться, можешь извести сестёр...что угодно – только пропади с улицы и не приближайся к кабинету.

– Не понимаю...

– И не должна. Иди. Я не хочу показывать тебя приближающемуся гостю. Прошу, ступай.

Я запомнила этот жест и, погладив мужчину по щеке, ускользнула в здание. Под очередной животный возглас. Кто это был? И стоило ли мне опасаться этого лица ныне?

Однако я послушалась. Вновь. Вновь позволила отцовским речам наставлять и указывать. И то было моим решением. Раз за разом.

Ману перехватила меня на спальном этаже и, витиевато болтая о нарядах послушниц, утащила в собственные покои.

– Кого боится Ян? – перебила я.

– Отец никого не боится, – сердито прыснула женщина: её раздосадовало и упоминание имени, и констатация человеческого чувства.

– Почему он боится за меня?

– Много берёшь на себя, птичка.

– Имею право, основания и возможности, – посмеялась я.

Женщина посмеялась в ответ. И согласилась.

– Дурной гость, – отметила Ману и пригласила сесть за крохотный столик подле окна, затянутого плотными гардинами.

В комнатке было темно; единственным источником света служила лампадка у кровати. Женщина кивнула на адаптацию кухонного гарнитура из нескольких шкафчиков и полок (эти предметы появились недавно) и велела угощаться, несмотря на моё вечное отсутствие аппетита и вицеподобные ключицы. Я обнаружила пастилу (кухарка недавно сушила) и сигареты. Прикусила первое и облаком от второго укутала смуглое лицо. Ману вдохнула во всю силу (грудная клетка едва не распорол корсет) и замурлыкала на старом наречии. Было похоже на похвалу.

– Чем занимаешься? – спросила я в момент, когда в женские руки запала пляшущая ткань, к которой налипли крохотные сверкающие камни.

– Костюмами, – ответила Ману; на пальце вырос напёрсток, в пальцах – игла, меж пальцев – прозрачные нити.

– Планируется Шоу?

Женщина ответила отказом; просто желала порадовать любимец.

– Мне думалось, я твоя любимица, – лукаво улыбнулась и в очередной раз затянулась.

– Была, пока не украла Папочку.

За действие в прошедшем времени мне захотелось уколоть...

– Какого это жить с осознанием, что пуста и никогда не сможешь выносить дитя?

То было больно.

– О, ты знакома с моей биографией. Очаровательно, – не поддалась Ману. – В Монастыре среди кошек завелось несколько крыс? Пора травить...

– Ты не ответила.

– Я не враг, Луна. Мы на одной стороне, – кивнула женщина. – Даже если ощущения обратные. Не кусай ласкающую тебя руку. А если хочешь честного ответа – держи: почти бессмысленно. Но лишь потому, что чувство материнства познать мне довелось. Послушницам же в тяготу не будет.

– Как он убедил тебя отдать ребёнка?

– Укоряешь?

Лёгкие напитались искусственно-сладким ароматом.

– Спрошу иначе: как ты не убедила его оставить?

– По той же причине, по которой вы не можете договориться с ним о дальнейшем сотрудничестве и работе в Монастыре, – поперёк кольнула Мамочка.

Я настояла, что всё предопределено, и отправлюсь вслед за мужем. Ману настояла, что впервой слышит об этом.

– Торгов не было?

– Я бы сказала, птичка. Ты учишься летать и иногда бьёшь меня своим неокрепшим оперением, но ты всё ещё моя птичка.

Дверь – после короткого стука – отворилась и в спальню зашла послушница. Она хотела обратиться к Мамочке (покладисто опустила голову), как вдруг заметила меня и, не растерявшись, уважительно поприветствовала тем же жестом. Спинка выгнулась, ножки дрогнули; Ману поучала монастырских кошек здороваться с прибывающими гостями и хозяевами в том числе пресным – как называла сама – реверансом.

Послушница о чём-то заговорила, но ни я, ни Мамочка её не слышали и не слушали; жест – жест обыкновенной послушницы – в адрес такой же послушницы поразил. Ману – глаза её засверкали – возгордилась и напугалась. Как раньше быть уже не могло.

Спустя часы объявился Ян: он растряс своим появлением стены крохотной комнатёнки, окинул взглядом задымлённое пространство, поразил Мамочку замечанием на старом наречии, а затем велел мне следовать за ним.

– Ты просишь или...?

Рука сдавила руку; я нервно отдёргнулась – напрасно: цепкий хват приковал к мрачному силуэту.

– Оставь свои игры, Луна, и следуй за мной.

Ману простилась грустной улыбкой. Послушницы – пока мы пересекали коридор – услужливо склоняли головы и – опосля – прятались в спальнях. Ян захлопнул за нами кабинетную дверь, а ключ – в который раз во время бесед – скормил кубку на столе. Поставил меня по центру комнаты и оглядел. Обошёл, прищурился, вновь обошёл. Оглядел.

– В чём проблема, Отец? Ищите изъяны?

– Мне известен главный, – прошипел мужчина. – Теперь известен.

– Что напел наш таинственный гость?

Я шагнула к распахнутому окну и взглядом окинула тропу и ворота. Никого.

– Отойди, – рявкнул Хозяин Монастыря.

Ржание повторилось. Я посмотрела на покрытую зеленью часть сада, сквозь растительность которого выглядывала смольная голова лошади. Навострѣнные уши ловили посторонние звуки, ноздри раздувались; лошадь ударила ногой, и к ней подошёл неизвестный. Чѣрную мантию разрезала белая рука – животному протянули угощение.

Ян велел скрыться и рывком задѣрнул балдахин. Кабинет погрузился во тьму.

– И что же тебе напели таинственный гость и его лошадь? – улыбнулась я. – Отчего лицо твоѣ грустит, Отец?

Пальцы сжали челюсть: осмотрел. Заглянул в глаза и причмокнул.

– Думаешь, добротный ли товар? Не прикасайся, Ян. Мне неприятно.

– А так?

Он перехватился за горло и подтянул к себе.

– Так приятно?

– Тебе известно лучше, Отец, – ответила пренебрежительно, хотя секундой ощутила тревогу. Общаясь с лжецами, перенимаешь их повадки; скрывать и утаивать – основа общения и порядка. – Мы одинаковы, Ян, – говорю я. – Разница лишь в одном: под солнцем тобой отхожено больше лет. А так мы одинаковы.

– Ничего ты не знаешь, вот и молчи.

– И тебя это раздражает и привлекает одновременно. Мы с тобой, Хозяин Монастыря, одной породы.

Мужчина вдруг осёкся и поник, отпрянул и потопил взгляд в неровно-пляшущих половицах (не отмечала их раньше – видела всё затуманено-идеально).

– Покупатель прибудет через два дня, – выдавил просевший голос на онемевшем лице.

– Кто же он? – опасливо спросила я, а Хозяин Монастыря недобро глянул.

– Прекрати думать об этом. Прошу тебя, не рассуждай: для женщин то плохо кончается.

– Ты не смеешь давить моё мнение и мою честь...

– Честь! – воскликнул Ян. – Ты говоришь это всё, Луна, и даже не ощущаешь, что у слов есть вес и последствия. Ничего не происходит просто так. Ничего не говорится без причины.

– Назови мне имя, – потребовала я. – Кто он?

– Какая разница?

– Что значит какая разница? – вскрикнула будто бы не своим голосом. – Она есть и она велика!

– Ты, помнится, просила вручить тебя первому встречному, лишь бы быть подальше от стен Монастыря и Хозяина Монастыря в том числе. Своё ты получила, суккубка. Дом твоего господина в нескольких днях пути.

– ...кто он?!

Я нагнала Яна и притянула за рукав задранной рубахи.

– Деревенская ты грубиянка! – Он отмахнулся. – Не слышу слов благодарности.

– Благодарности? За всё это?

– Я исполнил твоё желание, теперь исполни моё: пропади.

– Скажи мне имя!

– Мучайся, – выпалил мужчина и выпроводил за дверь. – Ныне ты собственность своего – как и хотела – мужа, и я не могу быть рядом. Встречай конвой.

Тогда за горло схватили дни ожидания. Мучительнейшие дни, потому что – в сравнении с ними – ожидание отъезда из родительского дома к монастырским землям не было преисполнено этим хаосом, ожидание первых торгов и прибытия Бога не были опоясаны этим волнением...Я боялась. Боялась, а Ян свирепо подначивал. Наказывал. Мера наказания сменилась (или такова настигла только меня, ибо воспитание физической силой направить он не мог, а на спокойные внушающие беседы я не поддавалась). Он победил. Я провела оставшиеся монастырские дни в одиночестве, изгнав сестёр из комнаты к иным послушницам, наплевав на скребущуюся Мамочку, потеряв из виду Хозяина Монастыря. Он победил.

Я поправила новое платье – последний подарок Отца. Заглянула в зеркало примерочной: мужской силуэт настиг меня в памяти, но не в отражении.

И вот мы в пути.

До последнего не внимаю происходящему: порог чьего дома я переступаю? чья служанка выступила сопровождающей? кто осмелился пойти поперёк сурового взгляда Яна?

Конвой останавливается: мы приехали. Я приехала. Домой.

Девочка распахивает дверь и предлагает покинуть душную кибитку. Солнце – продырявив небо прямо над нашими головами – режет глаза. Мы отвыкли от света за время пути. Я отвыкла от света за время нахождения в Монастыре. Перьевые облака – сеткой – ползут по голубой твердыни. Палящие лучи прижигают покрытые тканью плечи. Смотрю на вымощенную из камня дорожку лимонного цвета, что змеёй ползёт от забора к воротам резиденции. Окна – паучьи глаза – взирают на меня (приветственно или насмешливо?), двустворчатые двери отворяются (массивный дуб отходит со скрипом) и ноги вязнут в бордовом ворсе вычищенного ковра. Стены дышат пылью, от мебели

отталкивается аромат летней духоты. И вот с широкой мощённой лестницы холла ступает силуэт.

Я, скрестив руки за спиной, ожидаю встречи с супругом.

Прошу, Ян, ты не мог подвести...имел возможность и право, но не имел желания. Ты не обидишь меня, не отдашь на растерзание чудовищу и сотне его чудовищных жен. Прошу...Ты обижен, но не обидишь в ответ. Ты уже наказал меня – своим молчанием. Явись сам. Окажись здесь.

Я вижу его. Вижу, а поверить не могу. Делаю шаг – судорога – и теряю сознание.

Спаситель

Ко лбу её прилипает сырая ткань. По месту ушиба – синхронно с испариной пота – скатывается соленая капля. Я смахиваю её указательным пальцем и задерживаюсь у полуоткрытых губ. Мне всё ещё неясно, отчего я вызвался на погибель с её именем. Следовало оставить всё как есть...

И вот она открывает глаза. Испуганные, добрые. Девочка спешит подняться, спешит осмотреться; я тяжестью руки припадаю на её руку и полным спокойствия голосом велю не торопиться.

– Что случилось? – обеспокоенно спрашивает Луна.

Не помнит...

Говорит, в какой-то момент всё происходящее перестало существовать; окатил тягучий полудрём. Говорит пространно, дико. Отвечаю, что девочка потеряла сознание, незамысловато улыбаюсь и спрашиваю у хмурого лица:

– Не решила ли ты, что я оставлю тебя?

– До сих пор не верится, – созвучно с мыслями напевает девочка и поднимается, скидывая бледные ноги с дивана; те разрезают подол длинной юбки притворно синего цвета и вязнут в ворсе ковра.

Девочка смотрит на пол, смотрит по сторонам, вглядывается в книжные стеллажи и картины, вглядывается в резную скучную мебель.

– Должно быть, ты решил разыграть меня? – спрашивает она.

Поправляю завинченные у висков волосы (от влаги) и, ступив ближе, обхватываю лицо руками. Мне следует приглядеться к тому, на что я пошёл. Следует рассмотреть её. Пугается, притупляет взор. Очевидно...

– ...ты...я дома, правильно? – непонимающе продолжает девочка. – У тебя дома?

– У нас. Добро пожаловать домой, Луна.

Она пытается уловить подвох, выхватить притворство. Нельзя быть благосклонным на своей территории, когда объявляется чужак, так она думает. И у девочки есть тысяча оснований не верить ни единому слову. Вижу во взгляде неясную черту; скрученные опасение и тревогу, мимолётные радость и искру.

– Я боялась. И боюсь сейчас, – наспех признаётся девочка.

– Чего ты боишься? – спрашиваю я.

– Оказаться рядом с монстром.

– Иногда называют и так, – утвердительно качаю головой. – Значит, меня ты боишься?

– Тебя... – голос её чертыхается, – ...я ждала. – Крутит лицом и оттого ласковым, нежным-нежным румянцем лобызает мои сухие руки. – Может, это неправильно, но тебя я хотела увидеть. Не могу объяснить.

Может ли то быть правдой? Век научил не верить никому – в особенности милым лицам и ясным глазам. Однако...стоит ли мне принять сказанное ею за правду...? Для чего девочке – юной и своенравной – играть на чувствах?

Или только юные и своенравные играют на них?

– Прости, – роняет девочка и отходит; руки падают.

– Не за что извиняться, – улыбаюсь я. – Теперь ты моя супруга. Тебе всё дозволено.

От Луны пахнет мылом и свежей одеждой. Ткань платья стала дороже, фасон интересней, цвет глубже.

– Озвучь свои мысли. Тревожное лицо добавляет тревоги мне, – говорю я и указываю на окна, предлагаю подойти к ним и пригреться – погода отличная, располагающая. Дом пылает, стёкла – угли.

Девочка мягкой поступью переносит себя к бордовой гардине, отодвигает её и ловит – нашло! – вмиг ударившее солнце. Жмурится, прилипает к стеклу, вглядывается. Чуть поодаль – зелень, много. Глаза у неё на свету – светлый циан, можно добровольно нырнуть и там и остаться.

А девочка рассказывает, что всё это время выедала себя мыслями, потому что ничего ей известно не было, молчание провожало до последней монастырской минуты, дорогу печатавали то злость, то очарование, то грузность, то надежда.

– Я хотела тебя видеть, правда, – признаётся она. – Но каждый раз разоряла эти мысли о сказанное тобой однажды и сказанное о тебе единожды – ты не женат и жена тебе не нужна.

– Она всё ещё не нужна мне, – отвечаю я.

Острый взгляд, окаймлённый длинными ресницами, перцем бросается в лицо. Боевые очертания принимает лебединая осанка. Неужели чьё-то самолюбие оказалось тронутым?

– Представь себе, – простодушно выпалил я и развёл плечами. А самоуверенная (откуда в ней это?) бросила:

– Но нужна я, а потому ты сделал то, что сделал.

Решаю не разбивать горделивые выводы о причину действительную, потому что ответ её мне понравился больше, нежели обстоятельства.

– Согласись? – поддёрнула Луна.

Я кивнул. С тебя достаточно, девочка. Прекрати смешить. И Луна потопила улыбку в глубоком взгляде. Только она одна из всех послушниц могла так смотреть (да и не была послушницей вовсе; сколько в её рассудительности, приткности и красоте непослушания?).

– Лучше скажи, – начинаю я. – Что тебе нравится во мне?

На месте рта вырисовывается прямая линия.

– А ты оптимистично настроен! – играет девочка.

– Да, – соглашаюсь. – Я вижу. Можешь не лукавить и не отшучиваться. Иначе быть не может, я всё вижу.

Не признаюсь, что ответ сыграет на нашей с ней связи: на моём отношении к ней и степени доверия вообще, на её положении в доме и свободе передвижения, на её открываемых возможностях и моей благосклонности.

– Твоя отчуждённость, – немедля признаётся. – От мира, от людей, от самого себя.

Девичье личико вновь расслабляется. Озёрные глаза – некогда влипавшие в смолу – тонут в схожих водах.

– Твоё мышление – независимое, устойчивое и настойчивое, – продолжает она. – И твоё отношение ко мне – ведь я не боюсь.

Довольно киваю, обдумывая сказанное. Компаньонка из неё могла получиться пригожая. Собираюсь отступить, но девочка одаривает меня рвением и прыткостью и с нескрываемым в голосе интересом восклицает:

– Твоя очередь! – И обнимает саму себя: ладони прилипают к локтям. – Что тебе нравится во мне?

– А ты оптимистична настроена.

Схоже кивает.

– Твой характер, – отвечаю я, – ибо ты сильна и добра.

Не верит и потому хмурится. Должно быть, считает себя иной...но я вижу открытую миру душу и горячее сердце.

– Твоя улыбка – по поводу и без.

Тогда Луна одаривает меня упомянутой: уголки коралловых губ поднимаются.

– И твои волосы.

– Волосы?

Единственное, о чём она переспрашивает. Женщины...

– Как небо в самую тёмную из ночей, – объясняю я и вглядываюсь в бесконечное полотно густых нитей за её спиной; пряди у лица собраны в крохотные косы, что добавляет очарования узкому личику. – Ладно, жена, хватит любезностей. – Осекается. – Ты подходишь мне.

– Вот как? – рокошет растерянный вмиг голосок. – А ты собирался вернуть меня по гарантийному талону?

– Как вернуть?

Глаза её падают в ворс ковра. Еле слышно:

– Так говорил Отец...

– Мне не нужна жена, Луна, но быть с тобою я согласен. Твой – сам себя не понимающий – хозяин не видит, что делает, что рушит, что уничтожает...и потому я хочу вмешаться.

Кажется, Луна не готова ни к единому слову (не такого содержания уж точно), но я продолжаю:

– Он – то ясно – пытается удержать тебя: вопреки твоему желанию и унижая твои чувства (да, я помню, что ты сказала о нём в день знакомства). Он хочет быть с тобой, не будучи с тобой; чтобы ты была рядом, но не с ним – парадоксально, правда? Мне же не нужна жена и никого в её лице я не представляю – ни единую из женщин; однако вступить я считаю должным.

Луна очаровательно хлопает ресницами.

– Я выкупил тебя, и, надеюсь, союз себя оправдает. Ты не будешь вольна, но будешь свободна. Ты не обязана нести потомство. Ты не должна декорацией скользит со мной на вечера и встречи. Поглядывай за слугами, когда меня не будет в поместье – это большая из плат, о которой я могу просить за пребывание здесь. Радуй глаз садовым деревьям. А если серьезно: просто уважай этот дом и принадлежность к клану, ведь отныне имя твоё вписано в историю. Условия тебя устраивают? Ты согласна?

И девочка – с протяжным вздохом – выдаёт лаконичное «согласна».

– Спасибо тебе, – говорит Луна.

Однако благодарить её должен буду я – за спасение, за открытия, за эмоции, за врачевание, за отдушину.

Вскользь девочка упоминает, что с выходом из Монастыря ощутила расправленные (некогда скованные) плечи и свободное (несмотря на взаимозаменяемый один другим плен) дыхание. А я спешу поделиться, что

женой она стала в день торгов (к чему лишние дни тоски?).

– В момент отъезда из Монастыря ты попросту приблизилась ко мне. Свобода должна была настигнуть в вечер с благими, относительно, вестями.

– Никаких благих вестей не было, – признаётся Луна. – Хозяин Монастыря ничего мне не говорил и говорить отказывался. Тянул. А Мамочка сказала, что никакие торги никто не устраивал. Как это понимать?

– Так и понимать. Обдурил и Ману, и тебя, и едва не обдурил меня (но об этом позже). Незнание, она – причина войн: и внешних, и внутренних.

Ян – будь неладен – поиздевался напоследок: утомил и распял; и тому могла быть одна причина – Луна сказала, что не желает видеть его чёртову физиономию.

– То есть, – заключаю следом, – находиться здесь ты рада.

– Более чем. – И Луна отчего-то смущённо улыбается. Её детским повадкам стоило радоваться и умиляться, ибо вот она – не тронутая миром и другими сердцами – женщина, которую можно воспитать на свой лад. А воспитание мне хотелось дать (надо же!) достойное.

Провожая чудесный – ласкающий взор – стан до спален и показываю соседствующую с моей дверь. Луна удивляется. Кажется, песни Хозяина Монастыря заставили её представить себя в кровати с неизвестным мужем. Могу только вообразить, какое волнение поражало девочку весь путь, если имя моё ей названо не было; она приготовилась вкусить все радости и горечи (а первое, к слову, являлось просто меньшим проявлением и объёмом второго) семейной жизни.

– Ты не раба, – говорю я. – И спать ни с кем по принуждению не должна. Отвыкай так думать. – Махнул рукой. – Слуги подготовили комнату. Хочешь, называйся гостьей. О всех своих нуждах сообщай.

И я оставляю её возле комнаты, приглашая через несколько минут на полуденный чай. Так она знакомится с многовековыми традициями дома. И со

мной.

Девушка

– Меня зовут Гелиос, – представился мужчина.

Нехотя протянула руку – позволила прижечь её поцелуем. Мужчина, улыбаясь повадкам, просил сесть на диван: предложил питьё и поинтересовался самочувствием.

– Вам необязательно это делать, – сказала я.

То вырвалось.

Глупая!

Ведь обещала Яну быть послушной и молчаливой (то есть всё для меня противоположное и противоположному полу желаемое), но чужое лицо расстраивало и пугало, и слова сами сбегали с ненавистного языка.

– О чём ты, Луна?

Он знал моё имя.

И поймал растерянный – то намеренно – взгляд.

Конечно знал, глупая.

– Быть со мной любезным, – объяснилась я. – Вы не должны.

– Должен, Луна, – настоял мужчина. – Ведь разговариваю с хорошей девушкой. Ведь уважаю тебя и уважаю себя; уважаю свой выбор. Скажи, – Гелиос

откупорил бутылку и, наполнив бокал, позволил пригубить – едва-едва; словно бы проверяя соответствие вкуса названию, – ты влюблена? сейчас или, может быть, была?

– Да. – Я остановилась. – Нет. – Ещё раз. – Я не знаю...

Резко выдохнула и встретила с ненавязчивым смехом. Добрым. А сама захотела признаться, что ныне ощутила себя речью не владеющей. И призналась.

– Вы тоже так думаете?

– Расскажи об этом, – аккуратно подступил мужчина. – Если можешь и если хочешь. Кто твой избранник или избранница?

Ян велел выбирать слова (если вдруг я не удержусь и что-нибудь взболтну), Ян велел выбирать друзей (другом он обозначил себя, иные у него значились в списке «не доверять», несмотря на списки «друзья» и «партнёры» с соответствующими там именами), Ян велел не забывать о наших общих целях (он – оферент (что бы слово это проклятое не значило), а я – товар; такой симбиоз реален – исключительно и окончательно).

Но тогда – в тот момент – я ещё не простила содеянное им. Не могла принять и понять; ведь он отдал меня. Передал из рук в руки и, едва чертыхнувшись, пропал, хотя я до последнего думала: вернётся. Вернётся, выхватит, освободит. Но это не Ян, нет. Не кто-либо. Кто-либо и что-либо – это сложившееся. То, что случилось – вот правда. И я всё ещё была на неё обижена.

– Это Хозяин, – призналась я. – Он мне нравится. Или нравился, не знаю.

– ...но?

Что значило «но»? Как его следовало понимать?

– Мы все его послушницы и мы все для него одинаковы: любимы, однако недоступны. А он человек порядочный, – утвердила я и по привычке закинула ноги на диван, от волнения сминая подол платья. – Простите, это не то, о чём мы

должны говорить.

– А о чём должны? О чём можем? – интересовался спокойный голос, но не давал проскользнуть ни единой секунде неловкой тишины, приступая к гласу: – Тогда слушай меня.

И он рассказал, каким богом является.

Солнце – клан традиций и порядка. Дела Бога Солнца – производить свет.

– Метафорично, разумеется, – посмеялся Гелиос и сел подле меня – не рядом и не далеко (касаться и одаривать теплом дыхания – нельзя, прильнуть и остаться – можно).

И беседа дурачилась меж обычным вещами, меж бытом и ситуациями, людьми обыкновенными и людьми по принуждению/судьбе/року божественными.

– Какого это быть Богом? – протянула: ни без яда, ни без мёда.

– Как и Человеком, – зудел мой собеседник и тянул в ответ бокал. – Трудно, но интересно. Со своими преимуществами, со своими недостатками.

– Единственный недостаток Бога в том, что он – тот же человек, – швырнула наотрез. И тут же пожалела об этом. Стоит молчать, Луна, тебе стоит молчать. Держи рот закрытым. Закрой рот.

Но вместо того я открыла его и нахраписто приложила к напитку. Мужчина похвалил за сообразительность. Я думала, он будет зол. Станный. Мы присматривались друг к другу: оценочно глядели и выуживали настроение и реакции на слова и действия. Мы изучали друг друга. Поняла я это, правда, не сразу.

– Почему ты сказала, что не знаешь, испытываешь ли чувства? – спросил Гелиос и расслабил змеиную петлю на шее.

– Потому что до вашего вопроса была уверена в их наличии. После озвученного – появились сомнения.

– Если хотя бы горсть шаткости, нетвёрдости орошает симпатию – это не истинная симпатия, – заключил мужчина и осторожно потянулся к опустевшему бокалу. – Позволь...?

Не спрашивал, добавить или нет. И не принуждал. Делал так, чтобы я сама отдавала бокал на возглас. Спросила, откуда его уверенность (по теме беседы). Гелиос произнёс нечто на старом наречии. По кусочкам – три слова. Первое – гласное, второе – трубочкой протянутые слоги, заключительное – размыкающиеся челюсти; что могли значить эти слова? звучали прекрасно.

И собеседник мой пытался объяснить истинность фразы. Так, пояснял он, люди пытались докричаться до людей, когда слов и действий не хватало, а сообщить о перекраивающих внутри чувствах несомненно хотелось. Так, пояснял он, люди очерчивали одних людей (для себя) и других (от себя). Так, пояснял он, можно было сделать человека своим, одарив ликованием, или вовсе оттолкнуть его, заселив бесконечную тоску на сердце при отсутствии ответного.

Я расслабилась: плечи спокойно прилегли к спинке дивана, а колени перестали биться друг о друга. Спокойный голос укачивал колыбельной.

– То значило любить, – говорил Гелиос; в руках у меня оказался третий бокал. – Тебе знакомо определение влюблённости, верно? – мужчина повёл бровью и расстегнул верхнюю пуговицу рубахи; в комнате действительно было жарко. – Убери пару частей, немного подкорректируй (благо, все слова одинаковые и строятся схоже) и получишь выкинутую из употребления Любовь: ту самую, к человеку.

И, пояснил он, если то ощущаешь – «любовь», – сомнений быть не может. Они не возникают. И Гелиос спросил другое:

– Любишь ли ты?

– Нет, – без промедления ответила я. – Чувство, о котором вы говорите, мне неизвестно.

– Значит, – заключил мужчина, – всё намного проще.

И я пустилась в спор, что проще – это определенность: скупая и сердитая; неизвестность – а всё у нас под эгидой неизвестности – утомительна.

– Для молодого сердца нет преград. Одна влюбленность сменяется другой, и то нормально. Дорогу находит идущий.

Я отстранила в очередной раз опустелый бокал, а на предлагающий очередной напиток взгляд жестом показала отрицание: вдруг он – как и Ян – проверял меня? наблюдал и, внутренне злорадствуя, ликовал?

– Почему же люди отказались от таких красивых слов?

– За неимением соответствующего в жизни.

– Почему же об этом говорите вы?

– Душа романтика, – посмеялся Гелиос и тут же забыл о сказанном. – Потому что, если бы твоё сердце принадлежало другому мужчине, я бы не сделал того, что сделаю.

– Что же? – быстро спросила я.

Быстро и глупо. Для чего ещё мог прибыть этот человек? Стоило сообразить раньше, Луна! Да, именно сообразить. И не растекаться каплей по комнате, ибо трезвость в словах и убеждениях должна присутствовать даже в нетрезвой голове. У тебя, Луна, договоренность с Яном: и ты её опрометчиво спустила на нет, позволив случиться личным беседам и поспешным словам.

– Не хочу принуждать, – объяснил Гелиос. – Не хочу обижать и заставлять. Ты заслуживаешь иного, прекрасного.

– Вы можете, – перечила (но зачем?) я. – Можете это сделать, можете себе позволить.

– Мог кто-либо другой, не я. У меня свои принципы, а принципы, – вехи, которые будут держать правды и неправды век от века. Понимаешь?

Разумеется. Принципы одного сгубили и меня, и его обладателя, принципы иного – залечили и приласкали.

– Для тебя, Луна, этот раз будет особенным, – продолжил мужчина. – Ты не знакома с таинством Любви, а потому запомнишь – от и до – обличение тайны. И мне бы хотелось, чтобы то открылось с лучшей стороны. Ты заслужила.

Сам мужчина к напиткам не притронулся. Предполагаю, что ощущения от чего-либо приятней на трезвую голову, воистину. Он желал помнить: видеть и наблюдать, очерчивать в памяти и – опосля – воспроизводить. Он желал помнить, я же – забыться. Наверное, потому мы ощутили спокойную связь.

– Мне хочется видеть желание, а не вырывать это желание обстоятельствами. И уж тем более силой.

Последнее он сказал оскорблённо; и по отношению к себе, и по отношению ко мне. Я чертыхнулась и спрятала взгляд (всё-таки смущение – вопреки словам Отца – мне знакомо) в нависающей на окно гардине. За алой тканью виднелись металлические прутья, отделяющие Монастырь от Мира.

– Время перекусить, не находишь? – воскликнул Гелиос и резво поднялся.

Побрёл к столу у изголовья кровати (где находилась ранее бутылка) и вгляделся в поднос с закусками, на котором веером лежали клиновидные раковины.

– Устрицы и сыр. Оригинально, правда?

Я не ответила. Не ответила, но взгляд перевела – значит, пришёл к выводу мужчина, проявила любопытство. Разрезал раковину – названную устрицу, две равные части размыкались подобием ног и жидкость сочилась до пальцев – не брызнула, не успела. Бог Солнца запрокинул её и испил, довольно причмокивая и убеждая попробовать.

Немым жестом я согласилась.

Вторая раковина прыгнула меж сухими пальцами; разомкнулась. Мужчина склонился ко мне и поднёс мидию к губам – я же отстранилась и бросила

уверенное:

– Могу сама!

– Можешь. Но какое в том удовольствие?

Рот послушно открылся: залил. Тягучее и упругое мясо скользило по языку, оставляя жирный вкус. Закрыла глаза и с трудом проглотила.

– Ожидала ты иного, верно? – забавлялся Бог Солнца, и лицо его украшала улыбка – не насмешливая, не чуждая. А моё лицо боролось с судорогой от незнакомого.

– Не самый лучший опыт. Это... – я пыталась приноровиться ко вкусу, застрявшему на языке, – ...это точно можно было глотать?

Мужчина улыбнулся.

– На любителя. Без установок.

– Какой от них толк, если они такие склизкие?

– Устрицы – чудесный афродизиак.

– Даже не знаю, хочу ли знать, что это.

И Бог Солнца склонился к моему лицу, чтобы нашептать ответ. Щека пригрела щёку, а тёплый воздух обдал мочку уха; хриплые слова опустились до живота. Принцип работы этой съедобной дряни – аналогичен. Однако запах...я уловила сладкие ароматы (на то обратил внимание мой собеседник).

– Сливочный мускус, – сказал он. – Нравится?

– Очень.

– Тоже афродизиак.

– Вы раскрываете все свои карты?

– Ты можешь делать вид, что не понимаешь.

– Зачем?

Взяла интонацией и оторопевшим взглядом; уверенности прибавил наконец расплывшийся по телу алкоголь.

– Потому что это игра, Луна. Всё, что делают мужчина и женщина по отношению друг к другу – игра.

И Бог Солнца пожелал поправить мои волосы – аккуратно, ещё больше подставляя благоухающий рукав рубахи.

– Разреши?

– Разрешаю.

– У тебя очень красивые волосы, Луна, – говорил мужчина, откидывая выпавшую прядь и смахивая с плеча – словно бы лёгким касанием – выбившихся приятелей, – в клане Солнца все блондины – мраморные, платиновые. Я же седой головой награждён в силу прожитых под солнцем лет, но – раньше – тоже был таков. Всегда смотрел на светлые головы и предпочитал их по крови, не подозревая, что чёрные – вороные – могут так увлекать.

Концы вились на его кулаке. Я следила за мужским взглядом, ласкающим взглядом.

– О чём же вы думаете, Бог Солнца? – спросила я.

– Лучше не знать, Луна.

– Вот как? – фальшивое удивление.

– О таком не принято говорить. Показать – дело другое.

Его интонация...такая близкая, такая липкая, такая раздевающая. И голос...укачивающий, медитативный.

С испуга – вдруг – я оборвала касание собственным движением: дотянулась до столешницы и взяла бокал. Бокал встал меж говорящими.

– Я добавлю, – обронил мужской голос и ускользнул к бутылки.

Всё понял. Понял, что я не справилась: струсил и отступил. Играть у меня не получалось.

Напиток брызнул в пустое стекло. Я выпила. Выпила и попыталась успокоить обезумевшее сердце. Луна, пора прекращать. Прекращать лакать снадобье из спирта и ягод, прекращать тупить взор и тянуть время, прекращать слушать человека, который купил твоё тело, а не твои мысли и чувства. Ему интересен опыт – то есть его отсутствие, а не прошлое, которое привело к вашей встрече. Прекращай, Луна.

– А вы почему не пьёте? – спросила я, едва дойдя до дна.

– Тебе ответить честно или красиво? – улыбнулся Гелиос.

– Давайте договоримся. Говорить только правду.

И мужчина смаковал ответ на собственных губах, приглядывался, очерчивал.

– Не желаю притуплять чувства. Не хочу нарушать один вкус другим.

И поймал ещё большую растерянность на моём лице.

Я бы добавила причину иную: внесена слишком большая плата, чтобы отправлять это в забвение.

– О чём же думаешь ты, Луна? – спросил мужчина и протянул ко мне руку – пальцами замер у лица. – ...разреши?

Мне нравилось, как своевременно притуплялась его напористость, но не переставала при этом быть уверенностью. Потому я кивнула, на что горячие отпечатки нарисовали линии по щеке.

– Думаю, как бы не думать, – призналась немедля. Добрый взгляд просил продолжения. – Думаю, вы говорите эти слова каждой девушке, но потом думаю, могли бы молчать вовсе. Что есть правда?

– А что именно ты хочешь узнать? – пыткой давил собеседник.

– Вы беседуете с каждой? Много их было?

Гелиос неловко, но очень поспешно улыбнулся. Решил, наверное, что вопрос навеян наивной и неоправданной ревностью, присущей всем женщинам ко всем (даже не к своим и даже к незнакомым) мужчинам. Или что о нём напели другие послушницы. Но они не пели. Все молчали. И Хозяин Монастыря в том числе. Обыкновенно сплетни ласкали коридоры, но отчего-то утихли в последнюю неделю.

– А вот в этом, Луна, кажется, я не должен признаваться, – протянул Гелиос: рука его всё ещё находилась на моём лице. – Однако же если слова мои тебя утешат или успокоят, если они дадут мир твоей душе – ответ отрицательный. Не беседую. Не с каждой.

И я запутано выводила причину тому. Удивительно, как, боясь обозвать вещи своими именами, мы придумываем им тысячу других (а я верила, что по подобному пути не двинусь). Но почему...? Боязнь обиды говорящего или пустотелая безграмотность? Может, личное неприятие...? А, может, отказ в то верить?

Гелиос ответил не сразу. Попробовал несколько ответов на языке. Бегло нахмурился. И нехотя говорил:

– Не знаю, коим образом спокойствие твоему сердцу принесёт упоминание иных девочек, Луна, но – истинно – девочки обыкновенно молчаливы и стеснительны. Да, так. Однако прытки и любопытны: а потому знают, что делать и делают.

– Простите, если разочаровала.

Однажды Мамочка плела мне о своевременных извинениях и взгляде, полным ропота и раскаяния. Возможно, то было применимо исключительно к Отцу, но попытаться следовало...

– Не разочаровала. Тебя же я боюсь обидеть, Луна, – заключил Гелиос. – Как ты смеешь извиняться за свой характер, за своё воспитание? Я, повторюсь, уважаю твой выбор. И свой.

И вот любопытство проявила я. Задорными – вмиг – глазами. А, закусив губу, получила лёгкую улыбку в ответ. Бог Солнца расценил это как сигнал.

– Я бы хотел провести с тобой ночь, Луна, – сказал мужчина (словно бы признался и до сего момента то – загадка). Правда рушилась лавиной: но я не боялась. – Узнать друг друга (нет, не пропасть спустя часы; такого не желаю), и провести этот вечер – прекрасный (он уже априори прекрасный, ибо я познакомился с тобой, Луна) – и провести следующую ночь – прекрасную – вместе.

На мою дрогнувшую с недоверием бровь он добавил:

– Ты вправе отказаться, а вправе согласиться. – Шагнуло время на раздумье. Давал ли этот человек возможность выбора без выбора? как Отец – для пустой формальности? или в действительности не наседали, а ублажали? – Ты можешь поступить подобно своей первоначальной прихоти (я запомнил этот взгляд у дверей) и сбежать. А можешь возлечь рядом со мной и впитать новые чувства. Твоё мнение поменяется, обещаю.

– Вы доверяете мне.

– Правда, – согласился мужчина, – ибо не вижу причин для обратного: зла я не делал и зла в ответ не заслужил. Я учтив с тобой и, надеюсь, то будет вознаграждено.

– Вновь раскрываете карты?

И он отвёл руку, а я секунду-другую тянулась следом. Мне хотелось удержать тепло, хотелось обняться с этим теплом. Всё, к чему привязывал Ян, было пыткой – приятной, но скоротечной и без продолжения. И мне – словно бы – стало жадно. Я захотела узнать продолжение. Я захотела испить этот сок до конца: не делиться и не отрывать стакан, к которому только что приложилась губами.

– Ты мне нравишься, Луна, – подытоживал Гелиос, и я видела в этих словах и в этом лице утоляющий жажду напиток.

– Что мы будем делать? – уточнила я.

Оценил игру? Прикусил её?

– Ничего из того, чего не пожелала бы ты сама, – с хрипотой выдавил мужчина; пальцы его наконец сдавили ножку бокала – словно талию; и та послушно плясала.

Сколько ножек бокала он заставил плясать? Не позволю!

Не позволю брать меня – без желания – и использовать – во благо своё.

А потому я подогнула юбку от платья и села мужчине на колени, грудью упираясь в грудь. Бокал чертыхнулся и оставил два помутнения на белоснежной ткани. Гелиос отбросил бокал на столешницу позади и придавил меня за талию. Я сбросила избитые касания и волчьим взглядом велела не двигаться. Потерянно и даже нервно сковала руки на своей груди, но затем – с раскаянием и желанием – вознесла их к мужчине напротив. И, касаясь его, прижалась губами к губам.

Потому что хотела.

Руки его разрезали пространство и послушно обхватили спину.

Так, как мне хочется. И только.

Я целовала его – суетливо; а он не торопился. Гладил лицо и руки; задерживался на них – скользил пропитанными единым глотком вина губами. Влага оседала на

коже, и я запрокидывала от удовольствия голову. Губы вычерчивали змей на моей шее, спускались к груди и замирали у сковывающей ткани, зубы скоблили тесьму и швы.

– Не теряй голову, это только начало, – улыбнулся мужчина и, подхватывая меня, загляделся в смущённое лицо. Я помогла выбраться из пут одежды, он помог выбраться из пут мыслей.

Я делала это, потому что хотела.

Чувства чувствами и излечивают: отдушины в стороне – пелена на глазах. Дела, труды, занятия – мираж. Чувства чувствами и излечивают. Ими же и калечат, ими же и подбивают плиты отношений, внося произвол и разруху.

Мы провели ночь вместе, и в эту ночь – под её логическое завершение – я жалась к телу с запахом трав и тепла. Мужская рука обвивала половину тела, и я рептилией ползла по высеченной мраморным камнем колонне (несколько синих рисунков украшали плечо, локтевой сгиб и запястье, а самое главное – пылающее солнце – сияло опалённой краской на груди). Однако ни на что после повлиять я не могла: что сделано – то сделано. До последнего подтапливая мужской бок, молила ночь не оканчиваться, ибо с приходом дня солнце меня покинет. Оно в действительности взойдет на небосвод.

То было начало.

А сейчас я неспешно вышагивала по коридору поместья. Если некогда приёмная и кабинет Яна казались мне обителью красоты, то для величия этих стен, этих столпов, этих картин и гардин наименования, сполна отражающего суть зримой роскоши, ещё не придумали. Бордо с печатными ромбами ползут по стенам, босые ноги приминают густой ворс ковра, руки поглаживают золочённые ручки дверей. Коридор узкий: пытит вкусом и жаром. Я спускаюсь по хрустящей лестнице – первый шаг меня выдаёт; скрип ползёт до первого этажа.

Однако Гелиос звать или торопить не намерен. Крадусь – медленно и опасливо, с интересом и волнительным ожиданием, и вот, наконец, взглядом врезаюсь в мужской стан. Мужчина на кухне, часть которой виднеется с лестницы, за столом и спиной ко мне. На очередной лестничный хруст чайная кружка в его руке замирает, а сам он оборачивается в профиль. Лицо красивое, заострённое:

часть выцветшей щетины отбрасывает тень на белоснежный воротник рубахи. Он живёт полвека, и седина его оправдывает возраст. Сухая кожа говорит о жизни на юге Полиса. Бледность напоминает о знатном роде.

В зале – соседствующим с кухней – отмечаю над камином необъятных размеров картину с изображаемыми на ней и похожими друг на друга людей. Я думаю, это семья Гелиоса, но самого Гелиоса признать не могу. Виною тому выцветшая краска и неестественно выбеленные лица. Во всей мебели высечены изображения солнца, мраморные барельефы украшают шкафы и стены. Что за вечное назидание-напоминание?

Я сажусь напротив мужчины, с трудом отодвинув тяжёлый стул, и гляжу на чашку под собой. Последние недели ничего кроме градусов я не употребляла – из-за того травяная вонь едко пощекотала ноздри.

– Угощайся.

Гелиос кивает на уготовленный напиток. Сделал сам...?

– Прислуги живут неподалеку, в домике с соответствующим названием, – решает проинструктировать он. – Это горничные, посудомойки и садовник. Еду на день готовит Амброзия, а потому, если увидишь полную тётку с ножом в руках, не кричи: это наша кухарка.

Прыскаю со смеху в кулак.

– До завтрака она уходит.

– Поняла.

– А девочка, что сопровождала тебя в пути, занимается уборкой и стиркой. Мэри. Её сменяет Патриция – с аналогичными обязанностями. Как видишь, подруг у тебя может быть достаточно.

– А друзей? – хмыкаю я.

От глупости и для забавы.

– Твой друг ныне я, – прижигает мужчина. Неожиданно, ибо (по его словам) он выкупил свободу и иное не беспокоило. Пояснения всплывают следом: – Несмотря на специфичность наших супружеских отношений, несмотря на нашу договорённость...ты всё равно моя. Моя. Клана Солнца. Достоянная и уважаемая женщина, соответствующая имени мужа.

– Разумеется, – быстро соглашаюсь я.

И затем спешу оправдаться: попросту хотела узнать обо всех слугах в доме.

– Садом занимается Патрик (брат Патриции), а за транспортом ухаживает Гумбельт (немой работяга, и потому не пытайся его разговорить: физически то невозможно).

Киваю: всё поняла. И взглядом очерчиваю кухню в рыжем дереве. Рядом с узкой дверью, ведущей на улицу с торца дома, стоит корзина, полная свежих овощей. Узнаю, что доставка случается раз в несколько дней. Когда самого Гелиоса не будет дома, в мои обязанности входит встретить машину, получить еду и энергично расписаться в протягиваемом бланке. Ловко умалчиваю, что грамота мне мало знакома.

Занавеска ловко отпрыгивает из-за потока ветра, ударившего сквозь распахнутое окно, и кружевной окантовкой касается чайника. Подле него разбросаны тканевые мешочки, в которых утаены высушенные чайные листья с ягодами и кусочками фруктов. Чай Гелиос готовит сам. Я тоже могу научиться.

Всё это так...уютно, по-домашнему. И чуждо.

– Назови любимую еду. – Мужчина ловко переводит беседу.

– Вся любимая, – улыбаюсь я.

Всё нравится, чем не угости. Раньше с её разнообразием было худо, а потому любой аппетитный запах разжигает во мне интерес. Гелиос, должно быть, рассуждает об ужине. Думает, что подать к столу. Или желает угостить?

– Хорошо, – соглашается он. – Давай так. Не любимая, а особенная.

– Особенная? Инжир, – вспоминается мне.

Мужчина хмурится и добавляет:

– Где же ты, Луна, нашла на пустынной и, прости, облезлой монастырской земле инжир?

– Угостили.

В этом моя неразговорчивость утомляет. Вместе с дрогнувшим и поникшим лицом добавляет загадки.

– Пусть так.

Мужчина покидает место и велит обождать, уходит через узкую кухонную дверь на улицу и возвращается спустя несколько минут. В задранный рубахе он несет плоды инжира.

– Откуда? – радостно восклицаю я и принимаю чернильные пятна.

– В честь твоего приезда, – объясняется мужчина и затем – через окно – указывает на каменную дорожку, колесящую сквозь задний двор до зелёной арки с танцующими в ней пёстрыми розами. – Из сада. Он там.

У меня – словно бы – перехватывает дыхание. И я прошу показать этот сад.

Мы бредём под салатовым куполом: листва плотная, одаривающая благой тенью в самые жаркие из дней; сквозь эти шапки – едва-едва – так и норовят проскользнуть ненавязчивые и очень редкие солнечные лучи: они касаются земли и нагревают дорожку. Деревья обнимают друг друга своими кронами: так они велики и близки. Ни единый сучок не нарушает идиллию изображаемого, все веточки на своих местах – усмирены и личной миссией награждены (миссией создания забвения и красоты). На плечо мне приземляется рухнувший (а, может, решивший приласкаться) крохотный бутон цветка. Я снимаю его и, поцеловав, закладываю в волосы. Любое – даже самое крохотное, самое юное – создание, возвращенное Землёй должно быть награждено. А этот, покинувший отчий дом, сорванец лимонного цвета заслужил особую награду за свой сумасшедший, но

направленный на благоговение, прыжок.

Теневой сад сменяется – через калитку-малютку – кустарниками и прудом, над которым нависает одно-единственное могучее дерево, отчего часть воды приятно сокрыта. Всё остальное разве что не искрится от чудесного солнца, пригревающего каждого жителя сада.

Я оборачиваюсь на мужчину, позволившему мне двигаться чуть впереди, и спрашиваю разрешения. Он, закладывая руки в карманы и отводя взгляд, отвечает, что я могу забавляться здесь, как пожелаю. И я желаю скинуть, наконец, сандалии (узкие и натирающие), которыми меня подкрасили при выходе из Монастыря, и сигануть в воду. Подол платья парирует над голубой гладью, ибо я крепко сжимаю его в руках, но, едва намокнув миллиметром края, плескается вместо со мной. Изнуряющая духота пропадает. Пруд неглубокий: дальше щиколоток не погружаюсь.

Я зову Гелиоса. Легкомысленно. Прошу присоединиться и взмахиваю мокрыми ладонями ввысь. Мужчина отказывается и бредёт дальше: приходится нагонять. Грустное лицо скоблит мой восторг, и я притупляю напрасные чувства.

– Контролируй себя, – говорит Бог Солнца. – Следи за собой.

Мы проступаем к зелёному лабиринту – крохотному и игривому. Затеряться там не затеряешься, но мягкие стены приятно напирают на плечи. За территорией сада и, соответственно, каменным ограждением высятся хвойные гиганты. Гелиос предупреждает, чтобы без нужды и согласия дом я не покидала (в часть дома – хвала этим странным богам! – входил сад, но манящий еловым запахом лес – нет).

– А где дерево инжира? – спрашиваю я.

– Недалеко от лабиринта есть ещё один сад, – отвечает мужчина и на моё шутливо раздосадованное лицо добавляет: – Потом найдёшь. Он совсем мал.

Гелиос озирается на дом и, говоря, что скоро начнёт поспешно темнеть, велит уходить. Мы возвращаемся.

Мужчина отдаёт себя работе, и я впервой наблюдаю за ним в кабинете: за станом, возвышающимся над дубовым столом, за напряжённым лицом. Гелиос бормочет что-то под нос, разворачивая и читая многочисленные письма, а я – за неимением дел в округе – устремляюсь на второй этаж. Предстоит знакомство со спальней.

Гардина прикрывает множество узких и высоких окон, к которым вплотную жмётся двуспальная кровать. Я расправляю руки и птицей приземляюсь в жёсткое – должно быть, после стирки – бельё, кутаясь в бесконечных одеялах.

О чём ещё ты могла мечтать, Луна?

Одна из стен украшена золотыми солнцами, противоположная ей сокрыта комодом, зеркалами и жердью с плечиками для одежды.

Я поднимаюсь и подкрадываюсь к трюмо. В верхнем ящике лежит жемчужного цвета гребень. Не просто случайно позабытый, а намеренно оставленный. И я улыбаюсь, принимая его. Улыбаюсь и веду по волосам, распутывая последствия долгой дороги. Полотно рокошет по лопаткам.

Человек, принявший меня в дом, позаботился о каждой детали.

Не верь словам, зри действиям.

Обрати внимание, Луна, здесь нет ни пылинки. Значит, к твоему приезду готовились и не в последний момент. Значит, тебя ждали. Значит, хотели видеть.

Я стаскиваю с себя платье и отшвыриваю его за гардину – на подоконник; дабы завтрашнее солнце приласкало его с утра и высушило мокрый подол. В зеркало на меня смотрит всё та же Луна, заслужившая чем-то милость Солнца. И в зеркале этом я вижу отпечаток Яна, который прикладывается к моей шее, чтобы попробовать крохотную частичку тела.

Брось.

Подумай, Луна, кто сделал для тебя больше. Нет-нет. Во имя тебя.

Одеяла загибают в объятия и велят позабыться сном. Ян оставляет спальню и больше не возвращается: неудовлетворение от несостоявшегося поцелуя гложет нас обоих, я знаю.

Спаситель

Я зову её.

После прогулки девочка пропала. Растворилась в коридорной топи, будто бы никогда не являлась. Как я смел не углядеть танцующее меж спальнями чудо? Сколько лет стен этих не касались женские руки, а тут проскользнули по всем пилястрам и пригладили каждое высеченное солнце. Уверен, она нашла то старомодным, чрезмерно традиционным и даже вычурным.

Но Луна пропала.

Я увлёкся делами и позабыл, что под крышей со мной теперь вечерами теплится ещё одно создание. И вот оно скрылось вовсе.

На стук в спальню никто не реагирует, и я проверяю каждую комнату, перебирая мысли, что Луна могла перепутать двери.

Нет. Её нет.

Я зову вновь и вновь не получаю ответа. И тогда решаю проверить сад. Не стоило знакомить с пышущим дикостью и волей садом девочку, упрямую сначала в отчем доме без развлечений, а затем в монастырские стены. Свежий воздух, любила повторять одна моя знакомая, как и мечь, и аргументы в споре следует подавать порционно. Но Луны не было ни в одной из частей сада. Я отмеряю шаги до забора и покидаю территорию поместья. Непроглядный горизонт не позволит мне высмотреть возможные силуэты на пустынных землях, отданных ночи.

Неужели Луна сбежала?

А если и сбежала...далеко ли добралась? сколько вынесет дней пути и не падёт ли, так и не добравшись до мнимой – неясной мне – цели? соприкоснётся ли с острым песком раньше, чем до неё коснётся какой-либо конвой из города? ко мне явилась – в новом обличье – сама Стелла? что я могу сделать? как исправить? за что, Стелла, ты вновь решила показать себя в пустыни?

Мысли – доходящие до абсурда (странные и точно уж непривычные) – сменяют и перебивают друг друга. Я оборачиваюсь к помещью, от которого тепло не исходит уже не первый десяток лет, и вглядываюсь в возможно дрожащие шторы. Но ни единая ткань не движется – я лишь хочу то видеть. Дом запахнут мраком; лампы горят в кабинете и холле. Луны нет и небо молчит. Задираю голову и вопрошаю у светящегося диска, где её приятельница.

Я возвращаюсь в дом, гложимый сумасшедшим волнением и необоснованным, необъяснимым раскаянием. Правильно ли я поступил? Мог ли я выбирать? Мог ли распоряжаться её волей? А приводить в дом – страдавший однажды от чужих рук – очередного чужака? Стоило ли спасение души (молодой, неопытной, нераскрытой) подобного риска? Врачевать это место непосильно никому. Дом скорее падёт, чем вновь примет Любовь. А виной тому оно и только оно – ссохшееся слово на старом наречии, произносимое отшельниками и не понимаемое даже за милую.

Взобравшись по лестнице, я вновь припадаю к спальне, уготованной госте: распахиваю дверь (без стука, без возгласа, без предупреждения – ожидая пустоту) и, приноровившись к темноте, наблюдаю преданную сну девочку. Сквозь часть отъехавшей гардины на Луну взирает луна. Лицо покрыто нежным светом, и от того кажется невинно-детским.

Старый дурак.

Что ты устроил?

Убирайся, пока она не проснулась от твоего грохота и волнения и не испугалась ещё больше.

Однако сердцу приходит спокойствие. И это же спокойствие велит закрыть дверь и спуститься в кабинет. Из бара, сокрытого под земным шаром – рыжим и

выцветшим – я вызволяю стакан и бутылъ. Будь она неладна...отдала себя крепкому сну, и ни на единый зов потому не отвечала (так рано её в мир Морфея свалила усталость после дороги). Я пью вымоченный виски – сладкий и сводящий зубы. Ограничиваюсь стаканом и кулаками врезаюсь в рабочий стол.

Я поступил правильно.

Но она уже свела меня с ума.

Первый день. Мы едва знакомы. Она сильно младше. Ей неведом мир, в котором она рождена. Мне неведомы причины, по которым она отдала сердце не ценящему её человеку. Она ещё не видела жизни, однако оказалась в компании старика. Единственным её другом стал садист, ставящий собственное благо – как и иные Боги – превыше даже милого собственному сердцу. Нас свели рок, обстоятельства или судьба? Почему я задумываюсь об этих зыбких, безосновательных понятиях?

Мы едва знакомы, но я готов свалить к её ногам любую жертву и принести в качестве жертвы себя.

Она уже свела меня с ума.

Девушка

Никогда ещё пробуждение не приносило такого ликования и умиротворения. Я открываю глаза, готовясь очутиться в монастырских стенах, но то не происходит. Перед лицом моим навалом собраны одеяла: во сне соорудила крепость, дабы защититься от настигающих солнечных лучей.

Неужели это всё взаправду?

Я не тороплюсь, ведь утро велит наслаждаться. Уловив сквозь толщу стекла задорное пение соседствующих птиц и какие-то пряные ароматы с кухни, подтягиваюсь к краю кровати и сбрасываю себя на пол.

В зеркале мелькает та самая Луна, какой я была вчера, и ещё день до этого, и ещё. Я не обменялась с кем-либо телами и не очутилась в чьём-либо сне: я истинно прошагала пару половиц, скрипнув одной из них, и распахнула шторы. Наготу пригладили солнечные лучи. Танцуя на носках, я облепила тело тёплыми поцелуями, после чего схватила платье – сухое – и надела его.

Что мне следовало сказать Гелиосу? Как объявить об истинной радости нахождения здесь? Какую помощь предложить? Да и какая помощь служит платой за всё это...?

Платье скользит по слегка взмокшему от жаркого сна телу. Только подол соприкасается с полом, я ловлю движение извне и смотрю в сторону сада. Около зелёной ограды стоит юноша. И он (либо от недостатка ума, либо от переизбытка уверенности) взгляд свой отвести не желает. Всё это время. Он подглядывал? Он видел...?

Я изучаю незнакомца. Кто он и как попал в сад – не беспокоит. Беспокоит его наглость. Беспокоит глупость ситуации. Я отступаю и нервно задёргиваю гардину. И впервой за долгое время ощущаю стыд.

В Монастыре тело ничего не значило и за собой не несло – ни перед женщинами, ни перед мужчинами. Ты не прятал себя под обёрткой вранья (красивые одежды требовались для ликования гостей и только) и тканей, и все были таковы, а потому смущение не настигало. В момент, когда топили бани (а мне довелось посетить то место дважды), женщины ступали по лестницам и коридором без одежды; руки их держали тазы, в которых были свалены щётки и тряпки, и по дороге в бани встречались обслуживающие Монастырь – доставщики, уборщики, гонцы. Они, конечно, являлись с периодичностью (в отличие от тёток в столовой), но никогда ни единая кошка не притупляла взгляда при виде мужчины.

А мне – проклятые божки – неловко. И до безобразия стыдно.

Я сбегаю из спальни, оставляя позор около гардины и разбросанной кровати. Непривычные глазу портреты взирают на меня сверху вниз: я проношусь мимо, пытаюсь утаить румянец недавней ситуации, но люди эти – вероятно, давно умершие – отмечают меня клеймом. Одна из ступеней выдаёт хруст, и я немедленно роняю взгляд в пол. И в этот же миг сталкиваюсь с Гелиосом, который

поднимается на второй этаж.

Едва припав к его рубашке, повержено отстраняюсь и прячу руки за спину. Гелиос раскусывает волнение (в ту же секунду) и интересуется самочувствием. О, мне так не терпелось рассказать о тягучем и приятном пробуждении, о никогда невиданном утре, о чудесном пении птиц (он то знает) и привлекательном аромате выпечки, о солнце и Солнце. Мне хотелось взвалить слова благодарности.

Но всё рухнуло от скотского взгляда незнакомца из сада.

– Что случилось, Луна? Ты испугалась? – спрашивает Гелиос.

Вместо ответа с несколько раз встречается с моим затылком; я оборачиваюсь на портреты и оставленный коридор, который горячими следами ведёт в стыдливую комнату.

– Луна, солнце моё, – обращается мужчина, и слова эти привлекают внимание как нельзя лучше. Руки припаиваются к щекам, и румянец оказывается покрыт ладонями. – Что тебя напугало?

Так мы и замираем. Так он и успокаивает.

И я признаюсь, что видела за окном человека (подробности, разумеется, утаивая).

– Это садовник, – объясняет Гелиос и отпускает. – Прости за вольность.

Я киваю. Лишь только потому, что за вольность рукотерапию не считаю; да и ничего приятней тёплых пальцев на коже по утру ещё не придумали.

– Значит, – заключаю я сколько-то мгновений спустя, – садовник. Тот, что Патрик...?

– Да, – быстро соглашается мужчина и разворачивается на носках. – Пройдём на кухню. Если и есть успокоительное лучше чая – ни богам, ни людям оно неизвестно.

И, пока я пытаюсь привыкнуть к древесному вкусу напитка, Гелиос обращается к книге. По правде говоря, большую часть времени он будет обращаться к книгам – вечным сообщникам и молчаливым, однако одаривающими истинами, собеседникам.

Я разжёвываю тянущуюся вафлю. И из благих намерений вопрошаю:

– А ты завтракал?

– А тебя это в самом деле беспокоит? – отвечает едкий взгляд.

То звучит как укол.

Мне не следует открывать рот без надобности, а любое проявление положительного будет расцениваться как попытка умаслить моего спасителя. Я не могу искренне благодарить его, ибо искренность на свете перевелась, оставив рыночные устои и мерзость характеров.

Мужчина показательно раскрывает книгу и возвращается к чтению. Тогда я понимаю, что нарушила многолетний порядок дома. И Гелиос понимает то, отчего спустя секунды невидимо для моих глаз (как он думает) смеётся. Затянувшийся по времени завтрак нарушает зашедшая в дом обслуга. Каждый отсчитывается о проделанной работе.

И только одно лицо считает допустимым поздороваться со мной отдельно. Нерадивый садовник склоняется близ стола и о чём-то лебезит. Мимо пролетают разрозненные слова: «богиня Солнца», «женщина в доме» и прочий неуместный стыд, а потому Гелиос швыряет прохладный взгляд. Книга в его руках хрустит, я же, позабыв от растерянности и волнения всё на свете, прячу глаза в опустевшей чайной кружке. Садовник откланивается, извиняясь за беспокойство. Через кухонную дверь выходит потертый комбинезон и грязная – с отметинами зелени и песка – кепка. Я разглядываю удаляющегося со спины.

Дверь хлопает, и книгой по столу хлопает Гелиос.

– Что это было, Луна?

– Ничего.

И мужчина повторяет каждое слово по отдельности, а я повторяю с иной формулировкой:

– Не знаю! Ничего!

– Первый день, – зудит голос, – первый день в доме, а ты уже пытаешься держать меня за дурака?

– Что? О! Нет, нет!

– Я бы спросил: «Это твоя благодарность?», но в благодарности не нуждаюсь, ибо в какой-то степени считаю, что подобно Хозяину Монастыря выкрал твою свободу.

Хочу объяснить, но перебить не осмеливаюсь.

– Я не прошу благодарности, Луна. Но уважение...Это единственное условие. Уважай порядок. Уважай клан Солнца. Уважай хозяина дома Солнца. С тебя требуется только проклятое...

– Я уважаю тебя, Гелиос, и... – начинаю лепетать, но отчего-то путаюсь в словах и мыслях. – И благодарна за то, что нахожусь здесь...

– Отчего же называешь «дом» чужеродным «здесь»?

– Прости?

– В чём причина твоего беспокойства, Луна? – вопрошает мужчина, но с ответом я не спешу. – Если случилось нечто, о чём я должен беспокоиться, будь добра сообщить об этом как можно раньше.

Отмалчиваюсь и потому мужчина, равнодушно пожав плечами, покидает кухню. Отбиваю пальцами по пустой кружке; вдруг поднимаюсь и следую по пятам. Гелиос зовёт меня тенью и останавливается. Я замираю подле и ловлю подозревающий в чём-то взгляд.

– Ты можешь заниматься своими делами, – говорит он.

– Я занимаюсь.

И мужчина вздыхает что есть сил.

По правде, я пытаюсь приноровиться к движениям в доме; пытаюсь уловить идущие время и возможности, дела и развлечения, компанейскую жизнь и наличие постоянного собеседника.

– Что же это за дело, Луна? – парирует обозначенный. – Слежка? Догонялки?

Он разворачивается и бредёт дальше по коридору. Я шмыгаю по пятам и отвечаю:

– О, ведь ты тоже этим занимаешься! Не так откровенно. Я изучаю тебя. Всего-то! Понимаю и приглядываюсь.

– Как будто это что-то изменит.

– Наши с тобой отношения, конечно. Взаимоотношения, – поправляюсь я.

– Ни о каких взаимоотношениях речи быть не может, пока не научишься отвечать на мои вопросы. И делать то честно.

– Ты приказываешь! – с досадой восклицаю я.

– Ты вынуждаешь.

– Вынуждаю напирать с расспросами?

Готов завопить, вижу по взгляду.

– Вынуждаешь заботиться о тебе.

У кабинетного стола Гелиос останавливается – врезаюсь, прошу прощения и отступаю.

– Солнце моё, – протягивает мужчина, – мы переспали, такое случается. Забудь. Оставь это. Ни ты мне ничего не должна, ни я тебе. Всё в порядке.

– Разумеется, – в секунду соглашаюсь я и ложь эта даётся всего тяжелей.

Спаситель

По первости она преследует меня. Приглядывается, присматривается. Затем избегает. Думает, я не замечаю того?

В голове селится паршивая мысль, несколько: напрасно я вмешался в её перебранку с Хозяином Монастыря, напрасно один плен заменил другим. В монастырских стенах у неё была – вопреки монастырским правилам – некоторая свобода. Свобода выбора. Она каким-то образом заслужила право голоса и слова, речи её дурманили Яна и в итоге бы девочка смогла встать рядом с ним. Ощущаю это. Предчувствую.

Однако я вмешался и забрал её в прокоптившийся веками особняк – без людей и бесед, без компании и общения. Без перспективы. Слуги были выучены пропадать к обеду, прибывающие гости – редки. Что я мог дать девочке, которая едва перешагнула порог юности?

Следовало оставить её в Монастыре. Поговорить с Яном, упомянуть, что мне видна его симпатия, предостеречь от бед.

Что угодно, но не перетягивать дела на себя; не влезать в очередную главу жизни Хозяина Монастыря, не вестись на очередную (хоть и редчайшую) обаятельность очередной монастырской кошки. Доживать век спокойно и не знать бед. Не воображать, что клан Солнца ещё на что-то способен. Не способен. Клана нет. Просто не воображать.

– Сколько ей? – спросил я.

– Отхожено девятнадцать лет и зим, – ответил Ян и протянул бокал.

Я принял медовое питьё и усмехнулся.

– Как же, ага. Я серьёзно. Ты надоел со своими...

– Ей девятнадцать, правда.

Последние мои визиты Монастыря оканчивались руганью с его обладателем. Тот предлагал едва распустившиеся цветы, аргументируя это незатуманенным взглядом на мир и вещи, открытостью сознания и откровенной чистотой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/tarasova_kristina/dushi-skaz-2

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)